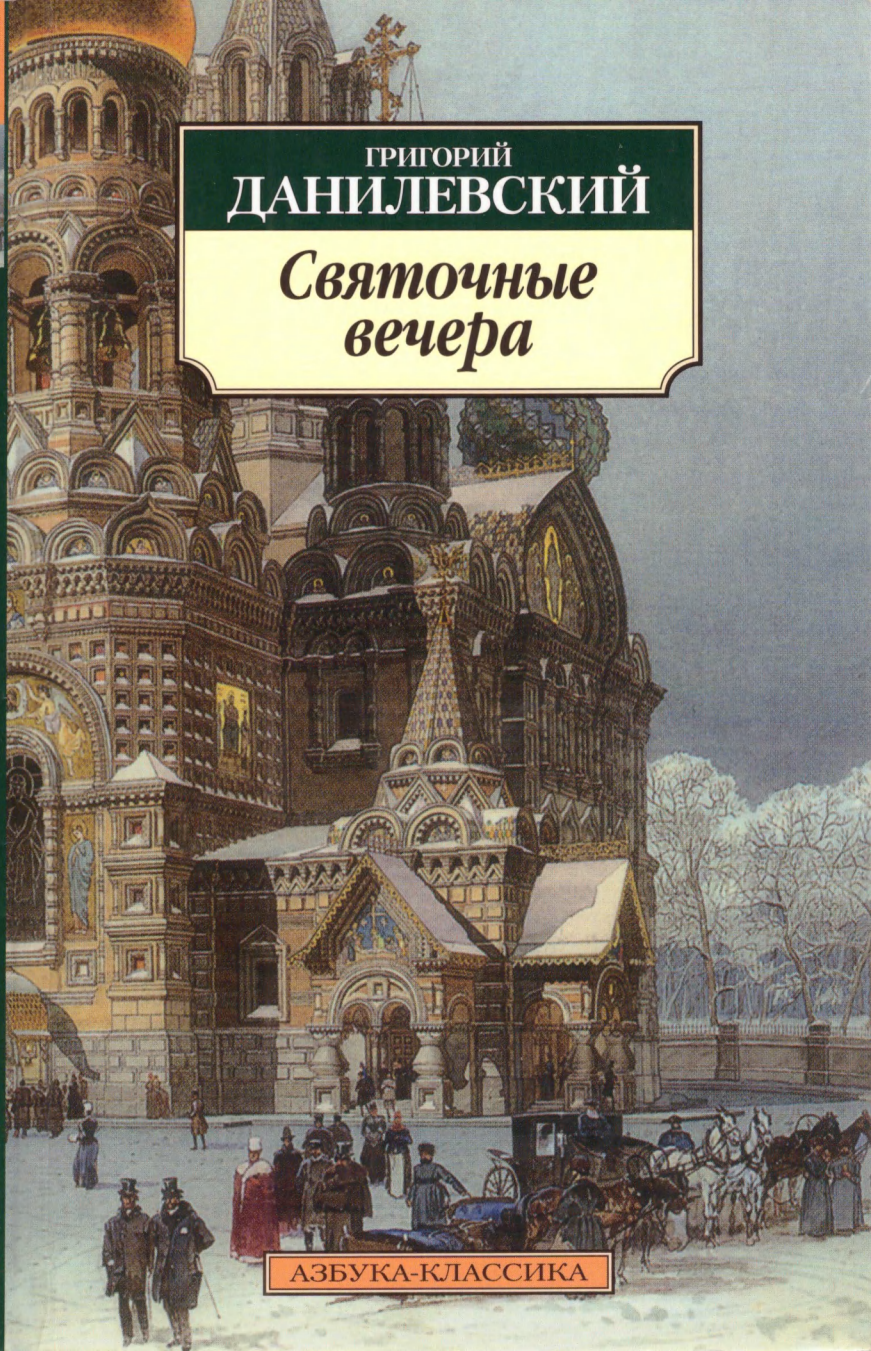


Святочные вечера

ДАНИЛЕВСКИЙ

ГРИГОРИЙ
ДАНИЛЕВСКИЙ

*Святочные
вечера*



АЗБУКА-КЛАССИКА

Григорий Петрович
ДАНИЛЕВСКИЙ
1829 – 1890

Григорий
ДАНИЛЕВСКИЙ

*Святочные
вечера*

Рассказы



Санкт-Петербург
2013

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)1-44
Д 18

Подготовка текстов, состав и примечания
А. С. Степановой

Оформление обложки В. А. Гореликова

Данилевский Г.

Д 18 Святочные вечера: Рассказы. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. — 256 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-04901-7

Григорий Петрович Данилевский — русский и украинский писатель и публицист. Широкую известность ему принесли исторические повести и романы — «Княжна Тараканова», «Сожженная Москва», «Черный год», вызывающие неизменный читательский интерес. Мастерски разработанный сюжет, точность характеристик и описаний обстановки считаются определяющими чертами стиля Г. П. Данилевского. В 1879 году писатель объединил несколько своих произведений («безгрешных сказок о привидениях, явлениях духов и прочей бесовщине») в цикл «Святочные вечера», в котором обратился к жанру святочного рассказа — одному из самых популярных в литературе XIX века.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)1-44

© А. С. Степанова, состав, примечания, 2013
© В. В. Пожидаев, оформление серии, 1996
© ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“, 2013
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-04901-7

Святочные вечера

ОТ АВТОРА

В зиму 1879 года, во время господствовавшей в Царь-цыне «ветлянской чумы», в Петербурге была сильная паника по поводу так названной тогда открытой врачами «прокофьевской чумы». В обществе ни о чем другом столько не говорили, как о чуме. В одном кружке, собиравшемся у милого образованного старожила Петербурга, возникла мысль избрать для развлечения себя иную тему разговоров, а именно обязательное сообщение каждым из членов кружка, по очереди, фантастических рассказов вроде тех, которые написал когда-то знаменитый Боккаччио во время бывшей в XIV веке «флорентийской чумы». Осуществлению этой мысли способствовало то обстоятельство, что в упомянутом гостеприимном кружке собирались любители безгрешных сказок о привидениях, явлениях духов и прочей бесовщине, вроде старинных рассказов: «Вечера на Хопре», «Пан Твардовский», «Вечер на кавказских водах в 1824 году» и др. Общество было, таким образом, с фантастической подкладкой. Автору было поручено составление протоколов предпринятых бесед, из чего и составлены нижеприводимые святочные рассказы.

I

МЕРТВЕЦ-УБИЙЦА

Это случилось в прошлом, восемнадцатом веке, в царствование Екатерины II. В большом великорусском селе скончался скоропостижно зажиточный одинокий крестьянин, слывший за знахаря и упыря. «Беда, — стали толковать крестьяне, — при жизни поедом всех ел; не даст покоя и после смерти». Его положили в гроб, вынесли на ночь в церковь и выкопали для него яму на кладбище. Похороны ожидалось «постные»: не только соседи жутко посматривали на опустевшую избу покойника, даже более храбрый церковный причт почесывался, собираясь его отпевать. А тут еще подошла непогода, затрещал мороз, загудела метель по задворкам и в соседнем дремучем лесу. Первый из причта не выдержал, очевидно струсил, дьякон. Пришел к священнику, стал проситься накануне похорон в дальнее село, навестить умирающую тещу. «Как же ты едешь? — уперся поп. — Кто же будет помогать при отпевании? нешто не знаешь, какая мошна? родичи, чай, вот как отблагодарят». — «Не могу, отче, ради Господа, отпусти».

Отпустил поп дьякона, остался с одним дьячком. Дьячок прозвонил до зари к заутренней, отпер церковь, вошел туда с попом и зажег свечи. Началась служба в пустой, холодной, старой церкви. Стужа ли замкнула все двери села, покойник ли пугал старух

и стариков, только никто из прихожан не явился к заутренней.

Дьячок читает молитвы, напевает, пряча нос в шубейку, а сам, вторя священнику, возглашавшему из алтаря, все посматривает на мертвеца, лежавшего в гробу, под пеленой, среди церкви.

Заря еще не занималась. На дворе была непроглядная тьма. В окна похлестывал уносимый метелью снег, на колокольне что-то с ветром выло, и скрипели петли ставней и наружных дверей. Желтенькие крохотные свечи чуть теплились у темных, древних образов.

И вдруг дьячку показалось, что убогий, потертый церковный покров шевельнулся на мертвеце. Причетник потер глаза, подумал: «С нами крестная сила!» — и опять стал читать по книге. А глаза так и тянет снова посмотреть на средину темной, холодной церкви.

Не вытерпел дьячок, глянул и видит: у мертвеца шевелится борода, будто он дышит, уставился на Царские двери.

— Батюшка! — сказал дьячок с клироса, остановясь читать. — У нас неладно.

— Что там?

— Мертвец ожил, страшно мне.

— Полно, неразумный, молись о Господе! — ответил поп, продолжая службу.

Дьячок отвернулся, углубился в книгу. Долго ли он там читал, неизвестно. На дворе как будто стало светать.

«Ну, слава тебе боже, скоро крикнет петух», — подумал дьячок в ту минуту, когда священник готовился стать в Царских вратах, читая отпуск с заутренней.

Дьячок глянул опять на средину церкви, вскрикнул в ужасе не своим голосом и лишился чувств...

Он ясно перед тем увидел, как потом рассказывал всему селу, что мертвец поднялся на одре, опростал руки из-под могильного покрова, посидел чуточку в

гробу и стал вставать — бледный, посинелый, с страшною, трясущеюся бородой. Священник испуганно и безмолвно глядел на него из алтаря. Мертвец, с распростертыми руками, раскрыв рот, шел прямо к попу...

Когда на дворе совсем рассвело и народ, спохватясь долго отсутствующего причта, вошел в церковь — перед всеми предстала страшная картина.

Дьячок без памяти, с отнявшимся языком, лежал ниц у клироса. В Царских вратах лежал навзничь бездыханный, с перегрызенным горлом, священник, а в гробу — неподвижный, бледный мертвец, с окровавленными губами и бородой.

Вопли и плач поднялись в селе. Убивалась попадья, чуть не умерла от горя и дьячиха. Но последнюю отлили водой; у дьячка вернулась речь, а с нею и память. Он все рассказал, как было.

— Упырь, людоед! — решили крестьяне миром. — Это он загрыз батюшку. Не хоронить его на кладбище, а в лесу, и припечатать его не отпускнуой молитвой, а осиновым колом.

Отвезли знахаря-мертвеца в самую чащу леса, вырыли там другую яму, положили туда упыря и пробили его насквозь в грудь осиновым колом: теперь не будет портить сатана неповинных людей.

Священника похоронили с честью, попадью щедро одарили, а церковь начальство, за такой святотатственный казус, до новых распоряжений впредь, запечатало.

Остались прихожане без попа и без церкви, ездили они, просили. Консистория все собиралась произвести следствие. Благочинный брал посильные приношения, обещал уладить дело, но церковь не отпечатывали. Крестьяне собирались писать прошение, но не знали, куда подать.

Дело случайно дошло до сведения Екатерины. Слушая доклад генерал-прокурора кн. Вяземского о разных происшествиях, она обратила внимание на случай с упырем.

— Что же ты думаешь об этом? — спросила императрица докладчика.

— Казус необычный, — ответил генерал-прокурор, — он коренится в суевериях грубой черни.

— Хороши суеверия... перегрызенное горло! ведь священника-то тоже схоронили. Отложи, князь, это дело вон на тот ломберный стол и позови ко мне Степана Иваныча Шешковского... хоть сегодня же вечером, перед оперой...

Явился к императрице знаменитый сыщик, глава и двигатель тайной экспедиции, Шешковский.

— Что благоугодно премудрой монархине? — спросил тайный советник и владимирский кавалер Степан Иванович, согнувшись у двери, с треуголом под мышкой и шпагой на боку.

— А вот, сударь, бумажка, прочти и скажи свое мнение.

Шешковский отошел с бумагой к окну, прочел ее и, подойдя к Екатерине, замер в ожидании ее решения.

— Ну, что? — спросила она. — Любопытная история — поп, загрызенный мертвецом?

— Зело любопытная, — ответил сыщик. — И где же, в храме!

— То-то в храме. И консистория, запечатав церковь, предлагает дело предать воле Божьей, а прихожанам, освятив храм, поставить нового попа...

— Попущение Господне, за грехи, милосердая монархиня... Как иначе и быть! — произнес, набожно подняв глаза, Шешковский.

— Ну, а я — грешный человек! — думаю, что здесь иное! — сказала императрица и, взяв перо, написала

резолюцию на докладе: «Ехать в то село особо назначенному мною следователю и, тайно дознав истину, доложить лично мне».

Екатерина дала Шешковскому прочесть свое решение.

— Кого, ваше величество, изволите командировать? — спросил Степан Иваныч.

— Кому же, государь мой, и ехать, как не тебе? — ответила императрица. — Держи все в секрете, как здесь, так и в губернии, — и все мне доподлинно своею особой разузнай.

Шешковский поклонился еще ниже.

— Великая монархиня! мое ли то дело? с бесами, прости, да с колдунами я еще не ведался и не знаю с ними обихода... ведь они...

— Вот в том-то и дело, батюшка Степан Иваныч, что нынче век Дидерота и Руссо, а не царевны Софии и Никиты Пустосвята... Мне чудится, я предчувствую, убеждена, что здесь все всклепано на неповинных, хоть, по-твоему, может и существующих бесов и упырей.

Шешковский, с именным повелением Екатерины в кармане, переодевшись беспоместным дворянином, полетел с небольшою поклажей по назначению.

В губернии он оставил чемодан с запасною форменною одеждой на постоялом в уездном городке; сам переоделся вновь в скуфейку и рясу странника и пошел по пути к указанному селу. Верст за двадцать до него — то было уж второе лето после события с священником и упырем — его догнал обоз с хлебом.

— Куда едете?

— В Овиново; а тебя Господь куда несет?

— В Соловки.

— Далекий путь, спаси тебя Боже, — чай? притомился?

— Уж так-то, православные, ноженьки отбил.

— Ну, садись, подвезем.

Подвезли извозчики до Овинова, а за ним было Свиблово, то самое село, где случилась история в церкви. Везут странника мужики и толкуют о свибловских: всех знают, всех хвалят, мужики добрые, не раз хлебом у них торговали.

— Что же, храм Божий есть у них?

— Нетути, закрыли из-за Господней немилости, благочинный скоро обещает открыть, да дорожится.

— Кто же будет попом?

— Два дьякона ищут, ихний и овиновский.

— Кого же хочет мир?

— Овиновского, подбрее будет; ихний — злюка и с женой живет не в ладах. Вон и его хата, на выгоне, под лесом, — выселился за реку — держит огород.

Странник встал у околицы, поблагодарил извозчиков, выждал вечера и зашел к дьякону. Хозяина не было дома, дьяконица пустила его в избу. Ночью странник расхворался. Лежит на палатах, охает, не может дальше идти. Возвратился дьякон, обругал жену: «Пускаешь всякую сволочь, еще помрет, придется на свой счет хоронить». Услышал эти речи странник, подозвал дьякона, отдал ему бедную свою кису, просит молиться за него, а не одужает — схоронить по христианскому обряду. Принял дьякон убогую суму богомольца, говорит: «Ну, лежи, авось еще встанешь». День лежал больной, два слова не выговорит, только охает потихоньку. Забыл о нем дьякон, возвратился раз ночью с огорода и сцепился с женой — ну ругаться и корить друг друга.

— Да ты что? — говорит дьяконица. — Ты убийца, злодей.

— Какой я убийца, сякая ты такая! Я слуга Божий, второй на клиросе чин... а поможет благочинный, буду и первым!

— Убийца, ты перегрыз горло попу... сам признавался...

Далее странник ничего не мог расслышать. Хозяева вцепились друг в друга и подняли такую свалку, что хоть вон неси святых. К утру все уgomонилось, затихло. Странник днем объявил, что ему лучше, поблагодарил за хлеб-соль и пошел далее...

Возвратясь в город, он явился к воеводе, прося о себе доложить. Ему ответили, что его высокородие изволит кушать пунш и принять не может. Странник потребовал немедленного приема.

Его ввели к воеводе, восседавшему у самовара за пуншем.

— Кто ты, сякой-такой, и как смел беспокоить меня?

Странник вынул и показал именной указ императрицы.

В тот же день в Свиблово поскакала драгунская команда. К воеводе привезли дьякона, дьяконицу и дьячка.

Дьякон не узнал сперва в ассистенте воеводы гостившего у него странника. Шешковский облекся в форменный кафтан и во все регалии. Дьякон на допросе заперся во всем; долго его не выдавала и дьяконица. Но когда Шешковский назвал им себя и объявил дьяконице, что, хотя пытка более не практикуется, он, на свой страх и по личному убеждению, имеет нечто употребить, и велел принести это «нечто», то есть изрядную плеть, веревку и хомут, и напомнил ей слышанное странником, — баба все раскрыла: как дьякон, по злобе на попа, вместо поездки к теще, переждал в лесу, проник в церковь, лег в гроб, а мертвеца спрятал в складках пелены под одром, напугал дьячка и задушил, загрыз священника, а мертвецу выпачкал кровью рот и бороду и скрылся.

— Что скажешь на сию улику твоей жены? — спросил Шешковский.

Дьякон молчал.

— А ну, ваше высокородие, — подмигнул Степан Иванович воеводе.

Двери растворились: в соседней комнате к потолку был приправлен хомут и стоял «нарочито внушительного вида» добрый драгун с тройчатой плетью.

Дьякон упал в ноги Шешковскому и во всем покаялся.

Его осудили, наказали через палача в Свиблове и сослали в Сибирь. Церковь отпечатали, овиновского дьякона, женив предварительно на дочери загрызенного священника, посвятили в настоятели свибловского прихода. Местного благочинного расстригли и сослали на покаяние в Соловки.

— Ну что, не я ли тебе говорила? — произнесла Екатерина, встретив Шешковского. — А ты, да и ты — предать воле Божьей, казус от суеверия грубой толпы. Мертвец-убийца! ну, может ли двигаться, а кольми паче еще злодействовать покойник, мертвец?

— Так, великая монархия, так, мудрая и милостивая к нам мать! — ответил, низко кланяясь, Шешковский. — Ты всех прозорливее, всех умней.

Он еще что-то говорил. Екатерина стала перебирать очередные бумаги, его не слушая. Грустная и презрительная улыбка играла на ее отуманившемся лице...

II

ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ

Еще никто не видел моего лица.
Древняя надпись на статуе Изиды

Настоящий рассказ относится к нынешнему веку, а именно к 1868 году.

Некто Порошин, молодой человек лет двадцати пяти—шести, черноволосый, сухощавый, бледный и красивый, незадолго до времени, которого касается

этот рассказ, кончил курс в Московском университете, где избег тогдашних волнений молодежи вследствие особого склада своей природы. Все его помыслы, стремления и привязанности вращались в особом, заколдованном кругу, который можно бы назвать «идеальным» в обширном значении этого слова. Он читал философов, деистов, но рядом с ними и натуралистов — последних для сравнения с первыми.

Жадно пробегая в газетах известия о сверхъестественных явлениях, призраках, сомнамбулистах и медиумах, он сам, впрочем, не верил в практический сомнамбулизм и медиумизм, особенно в те его проявления, которые трактуются и публично показываются шарлатанами вроде Юма, Бредифа, Следа, братьев Эдди и других фокусников этого пошиба.

Приехав в 1808 году в Париж для поправления своего вообще расстроенного и слабого здоровья, Порошин посещал лекции разных ученых, но не пропускал и других диковинок, в том числе фантастических вечеров вроде сеансов Робер-Гудена и ему подобных, где показывались опыты так называемой высшей физики, явления спектров, ясновидения и прочие трансцендентальные затеи, где он наблюдал за тем, как ловкие, умные и вообще всегда весьма милые французские фокусники-шарлатаны морочат уличную, пресыщенную другими удовольствиями толпу.

Однажды Порошин сидел в зале такого физика. На сцене была усыплена какая-то белокурая девица, читавшая запечатанные письма и диктовавшая рецепты больным из публики. Все шло хорошо, как по маслу. Щеголеватый профессор сомнамбулизма, во фраке, в белом галстуке и таких же перчатках, щебетал с кафедры перед спящею ясновидящей, сыпля именами новейших светил реальной философии и путая, по обычаю французов, Шопенгауэра с Гартманом и Штрауса с Фейербахом. Становилось очень скучно. В зале была

давка и духота. Лампы тускло освещали море голов. И в то время, когда Порошин уже хотел уезжать, одна из этих голов, в красной восточной феске, шевельнулась среди публики, и из ее уст послышался резкий голос:

— Это шарлатанство, надувательство грубого вида!

Все всполошились, оглянулись. Профессор смутился.

— Грубый обман и ложь! — повторил громко человек с красивым смуглым и умным лицом. — Публика должна протестовать...

— Кто вы? — спросил хозяин вечера. — Так не смущают зрителей! Если вы не верите в опыты ясновидения, зачем сюда пришли? зачем платили деньги? можете их получить обратно...

— Шарлатанство! — твердил тот же восточный человек, очевидно армянин. — Я говорю не против сомнамбулизма, а против таких обманов, какие разыгрываются здесь... Вы усыпили свою соучастницу. Она не спит, а потому такая же обманщица, извините, как вы... Но я верю в ясновидение — я его поклонник и занимаюсь им давно...

В публике, смешанной с подставными, очевидно наемными, зрителями, *compères*¹, поднялся невообразимый шум. Армянин в феске вскочил на стул, показав руками, что хочет говорить.

— Но я верю в могучую, беспредельно великую силу сомнамбулизма, — смело продолжал армянин ломаным французским языком, когда все затихло. — Я сам владею даром усыпления... И вот доказательство...

— Вон его, за дверь! долой! — кричали подставные клакеры, с красными, вспотевшими лицами.

¹ Помощники фокусника в зрительном зале (*фр.*).

— Пусть говорит, пусть делает опыт по-своему! — кричали другие из зрителей, толпясь к сцене.

Сконфуженный, с измятым галстуком и распоротой в давке фалдой фрака, взъерошенный маг-профессор с своим помощником возвратился на кафедру. Туда же дали пройти и человеку в феске.

— Я хочу, желаю, требую, чтобы вы сами заснули! — сказал последний, обращая черные, повелительные и умные глаза к профессору. — Садитесь, вот так; сложите ваши руки и спите... слышите ли? спите, я приказываю!..

Профессор улыбнулся, поморщился, сел, окинул общество растерянным недовольным взглядом, очевидно, против воли закрыл глаза, зевнул... и, к удивлению всех, заснул. Армянин сложил на груди руки, поглядел также повелительно на помощника профессора, шершавого, коротко остриженного и рыжего малого, очевидно из отставных военных, поднял руку, устремил к нему протянутые пальцы — помощник также заснул...

Изумление публики было без границ. Все замерли, глядя на таинственную феску.

— *La séance est levée!* заседание наше кончено! — сказал армянин, медленно и важно сходя со сцены. — Вы видели! вот сомнамбулизм!

Поднялась давка и суета. Все хотели его видеть ближе, с ним говорить. Но таинственный незнакомец исчез в толпе, точно провалился сквозь пол.

«Не верится, — подумал Порошин, уходя из залы практической физики, — старые штуки на новый лад! Простодушные, легковверные французы не догадались, дали промах. Очевидно, и армянин был тем же наемным, подставным лицом... Маг-профессор заметил охлаждение к себе посетителей, ну и придумал таким образом подогреть их внимание. Та же реклама, то же

шарлатанство. Да притом и не особенно оригинально... Известна проделка американского журналиста, который для поднятия подписки на свой журнал стал печатать в других изданиях самые резкие, наглые на себя нападки от вымышленных лиц: одни печатно представляли его мошенником и клятвопреступником, другие вором и убийцей, третьи развратником в колоссальных размерах. Он не скупился платить за такие дружеские рекламы, пока все не задумались — да видно же, любопытный это и недюжинный человек, когда о нем все так кричат! — и стали раскупать его собственную газету».

Прошло с этого вечера несколько месяцев. Порошин забыл о сомнамбулисте-профессоре и об армянине. Раз он шел с товарищем Чубаровым сквозь Луврский двор. Видит, Чубаров раскланялся с каким-то человеком в феске. Порошин узнал армянина.

— Как, ты его знаешь? — спросил он Чубарова.

— Еще бы не знать такой замечательной особы, — ответил с улыбкой Чубаров. — Мы с ним жили как-то на водах, в Германии.

— Да чем же он знаменит?

— Помилуй, он вызыватель духов, медиум и чуть не заклинатель змей...

— Нет, вздор! ты шутишь, — возразил Порошин. — Ты не такой, чтоб znalся с вызывателями духов и заклинателями змей... Слушай, чему я был очевидцем...

Порошин передал рассказ о случае в зале профессора ясновидения. Чубаров задумался.

— Ты ошибаешься, это не шарлатан и не мог быть в стачке с сомнамбулистами! — сказал он. — У этого армянина, черт бы его побрал, есть действительно кое-какие способы... Но я тебе, Порошин, о них не сообщу...

— Почему?

— Ты за последнее время что-то уж очень похудел, еще стал бледнее, и зрачки вон у тебя несколько

расширены, и нервный ты такой... Тебе это опасно, я же испытал...

— Полно, глупости! расскажи! — пристал Порошин к приятелю. — Не мучь меня; правда, какая бы она ни была, никогда меня не потревожит... Я доби-
ваюсь истины; одна ложь, одни обманы мучат и раз-
дражают меня... Расскажи, открой, в чем это дело? Ты,
верно, знаешь и адрес армянина, у него бывал и здесь...
Так после вод не встречаются... Он на тебя посмотрел
очень сочувственно...

Делать нечего, Чубаров зашел с Порошиным в ка-
фе на набережной Сены и это ему сообщил. Оказа-
лось, что армянин, адрес которого Чубаров здесь же
передал приятелю, обладал секретом — переносить
человека, во сне, через сто лет вперед.

— И ты этому веришь? — спросил с болезненной
улыбкой Порошин.

— Еще бы, — нехотя ответил Чубаров, — как не
верить, когда я сам, благодаря этому странному чело-
веку, испытал такого рода путешествие...

— И не раскаиваешься?

— Пожалуй, с некоторой стороны досадно и даже
обидно...

— Почему обидно?

— Да потому, что не хотелось, а пришлось про-
снуться... Во сне было так хорошо...

— Гм! и как он это делает?

— Дает, представь, какие-то пилюли...

— Что в рот, то спасибо? — раздражительно засме-
явшись, спросил Порошин. — Экие ловкие эти ази-
аты! Ну можно ли так морочить людей? Да еще, по-
жалуй, и деньги берет?

— Берет, друг мой, и большие...

— Гм! — промычал Порошин, — отсохни моя ру-
ка, если я ему дам хоть полущку за такой обидный об-
ман.

Чубаров, однако, был убежден, что Порошин не вытерпит, и боялся особенно за его здоровье, не очень-то подходящее для таких опытов.

Так и случилось.

Порошин в тот же день думал-думал, нанял фиакр и покатил по бульварам на площадь Трона (place du Trône или baggière du Trône), украшенную двумя колоннами с бюстами старинных французских королей, где, по адресу Чубарова, жил таинственный армянин.

Армянин жил с женою, хорошенькою и молодою женщиною. Он принял гостя не совсем дружелюбно.

— Вы можете перенести меня в будущую жизнь? — спросил Порошин армянина, после первых с ним объяснений.

— Да... но только в будущую жизнь — на земле.

— Понятное дело... Где же именно и когда вы мне дадите пожить в будущем?

— Здесь же, в Париже... иначе, разумеется, и быть не может! Вы заснете в моей комнате и очнетесь в ней уже через сто лет, то есть проснетесь через секунду, когда задремлете, и очутитесь во времени, которое настанет для Парижа, для целого света, по прошествии ста лет...

— Чепуха, — в волнении и сердито произнес Порошин. — Извините меня, галлюцинации какие-нибудь от наркотических средств. Еще дурно сделается, будет голова трещать, как раскаленный котел, отупеешь на время, руки будут трястись...

— Видно, что вы уж пытались делать такие эксперименты, — сказал, чуть заметно усмехнувшись, армянин.

— Ну да... был так слаб, увлек один индеец, здесь же, на Всемирной выставке, — ответил Порошин.

— Все увидите сами, сами испытаете, — произнес серьезно и как-то задумчиво-грустно армянин. — Мои

средства иные, безвредные, достались от отца, от деда на родине, в Армении. Не всего достиг, человек, слабы силы смертных, — но кое-что открывается мудрым Востока, достойным умам. Знаете надпись на статуе богини Изи́ды: «Никто еще не видел моего лица»? Да, это бывает открыто не многим.

— Кому открыто? не верю... — сказал Порошин. — А уж в Азии еще более, простите, падких к проделкам, ловких фокусников и шарлатанов. Я долго об этом думал... а впрочем, сколько стоит ваш опыт с усыплением?

— По сто франков за день, а если неделя — несколько дешевле: пятьсот франков за неделю! — спокойно и так же задумчиво ответил армянин.

— То есть как пятьсот за неделю? за какую неделю?

— Ну, вы проснетесь и, положим, захотите прожить в том веке, то есть в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году двадцатого столетия, ровно семь дней... вот за каждый день и внесете плату!

— Когда внесу?

— Вперед, разумеется...

— Ха-ха-ха! Что вы! — засмеялся Порошин. — Наши простака, чтоб я этому поверил. С вас еще надо взять деньги за эту шутку... Слышите ли, наесться ваших восточных специй и в смешном виде, пластом пролежать перед вами час-другой, потешая вашу наблюдательность...

— Не час и не два, ровно неделю, повторяю, вы будете спать, — сказал с достоинством и так же спокойно армянин. — И дело вовсе не шуточное, не на смех! Есть немало охотников... и не одни молодые люди, как вы, а солидные ученые, буржуа и даже владельческие особы обращаются ко мне и к моей жене...

— Какие особы? И почему также к вашей жене?

— Тайна досталась нам от ее родных, пешаверских армян; ее и меня звали с этой тайной в Испанию, Ита-

лию и даже в Мексику; испанская королева два раза засыпала при нашем посредстве, а покойный мексиканский император, несчастный Максимилиан, мне даже пожаловал орден незадолго до своей катастрофы...

«Ну, уж я-то не засну ни в каком случае!» — сказал себе с твердостью Порошин, уходя от армянина.

Ему показалось, что жена последнего, провожая его с лестницы, смотрела на него подозрительно и насмешливо, как бы мысля: «Придешь еще, голубчик, придешь».

Так и случилось.

На другой же день Порошин возвратился на площадь Трона, к армянину.

— Вот пятьсот франков, — сказал он, запыхавшись от высокой лестницы и поспешной, тревожной ходьбы. — Где ваши снадобья? я готов...

— Это для меня, — сказал армянин, считая тонкими, белыми и нежными, как у женщины, пальцами принесенное золото. — Но ведь нужны деньги и для вас?

— Какие деньги? это еще для чего?

— Вы же проснетесь в том веке, проживете в то именно время семь дней сряду, — вам нужно есть, пить, захотите, пожалуй, и удовольствий.

— Сколько нужно? — спросил, глядя в пол, Порошин.

— Это зависит от вас самих... смотря по вашим наклонностям. Ваших привычек я не знаю.

— Однако же... и мне притом трудно... я там, понимаете, не жил... экая чепуха! даже смешно...

Порошин, однако, теперь не смеялся. Глаза его были строги и с острым, лихорадочным блеском смотрели куда-то далеко. Побледневшие его губы слегка вздрагивали.

Армянин подумал с минуту.

— Полагаю, — сказал он, — этих денег, то есть пятистот франков, будет достаточно... Я устрою их обмен и вручу вам их перед сном, а проснувшись, вы отдадите мой заработок особо, мне или жене...

— Вексель надо? — спросил Порошин.

— О! я вам и так поверю, — ответил армянин. — Кроме того, вам нужно... платье...

— Какое платье?

— Да через сто лет, надеюсь, не в этой жакетке и не в этих узких панталонах будут ходить.

— Где же я возьму? притом здешние портные вряд ли подозревают будущие моды...

— О! я вам и в этом помогу! У моей жены есть на такой случай запас.

Армянин сходил в комнату жены и вынес оттуда картонную коробку с платьем, замшевый мешочек, какой-то странного вида ящичек и небольшую жаровню.

— Вот наряд, в котором парижане будут ходить через сто лет, — сказал он. — А это тогдашние, то есть будущие, монеты.

Он вынул из картонки шелковый просторный полукафтан или, скорее полухалат, яркого, невиданного, восточного цвета, до колен, такие же широкие панталоны, еще более яркий шейный платок и мягкую соломенную, в виде зонтика шляпу и открыл замшевый мешочек. Из мешочка он высыпал горсть золотых монет, с надписью на одной их стороне по-французски: «Равенство, свобода, братство» — «Французская республика 1968 г.», а на другой стороне — какие-то восточные письмена, вроде арабской или еврейской азбуки или даже иероглифов.

— Нелепость! — сказал, отвернувшись, Порошин. — У французов никогда не будет республики... Они по природе монархисты, а вкусом — фетиши... Да и вы рискуете: теперь здесь правит Людовик Бона-

парт, его агенты увидят у вас эти монеты, вы еще насидитесь в полиции, вас осудят и вышлют.

— Это уж мое дело, — серьезно и сухо ответил армянин.

Он раздул принесенную с угольями жаровню и взял в руки серебряный, с финифтью, изящного и странного вида ящичек. Из ящичка он вынул несколько зерен. Зерна были черные, блестящие, точно выточенные из агата.

— Эти пилюли, — произнес с важностью и даже благоговением армянин, — вы примете, если на это решились, одну за другою... Вот ровно семь пилюль, вы проглотите их и, проспав здесь семь дней, ровно столько же дней проживете в следующем веке... Понятно ли вам? Но еще одно условие, — не мое, а тех, кто оставил нам эти зерна.

— Какое? говорите скорее: не мучьте, не томите, у меня точно лихорадка...

— За каждый день жизни в том земном веке, то есть через сто лет, вы одним годом менее проживете в этом свете, или веке... Условие, извините, не шуточное, и я вас о том предупреждаю... Подумайте прежде, чем решитесь заснуть.

— Давайте ваши пилюли, я решился! — ответил, покраснев, Порошин. — Не хочу откладывать, давайте теперь же. — Порошин взял пилюли.

Армянин помог гостю переодеться в принесенное «будущее платье», причем услуживал ему с отменной любезностью. Незаметно вошедшая в это время жена армянина полуспустила гардины на окна, переставила некоторую мебель и бросила на уголья жаровни какую-то нежно пахучую, янтарного цвета смолу. В комнате мгновенно стал распространяться необъяснимый, томительно-сладкий, опьяняющий запах.

— А что это за надписи на обороте монет? — спросил он хозяина. — С какой стати во Франции будут

чеканить на национальных деньгах подобные азиатские письма?

— Это все вы узнаете сами, проглотив последнюю из пилюль, — вежливо-сдержанно ответил восточный маг.

Порошин взял на ладонь поданные зерна, поглядел на них с секунду и быстро проглотил их, одно за другим. Армянин указал ему на ключ в двери, стакан и воду в графине, так же вежливо откланялся и вышел с женой.

«Посмотрим, — подумал Порошин, замыкая за ними дверь. — И уж если надуют, я не пощажу их, обо всем напечатаю в газетах...»

Он подошел к столу, выпил залпом стакан воды и взглянул на площадь Трона в окно. Наступал вечер. Солнце золотило крыши домов, колонны с бюстами королей, фонтан и ветви старых каштанов.

Непонятная, чарующая нега стала охватывать Порошина. «Нет! не поддамся! даже вовсе не засну и посмотрю, что будет!» — сказал он себе, принимаясь ходить по мягкому, пестрому ковру небольшой, уютной горенки.

Долго ли так ходил Порошин, улыбаясь предстоящему испытанию и думая о своей решимости наблюдать, — этого он впоследствии не помнил. Подойдя к окну, он опять взглянул на площадь и потер глаза: площадь Трона как бы застлало туманом. Порошин присел на кушетку, склонил голову. «Да что же это со мною? — мыслил он. — Я как будто дремлю!» Он почувствовал, что, одолеваемый неудержимой склонностью заснуть, он ложится, протягивает ноги и против воли дремлет, даже засыпает.

«Нет, черт возьми, не засну! не засну, ни за какие блага в свете!» — сказал себе Порошин, усиливаясь выбиться из сладких, охвативших его грез, усиливаясь не покориться им и встать.

Это ему как бы удалось...

Он вскочил и подошел к окну. Что за чудо? Та же самая пласе, или *baggière, du Trône*, те же колонны с бюстами, фонтан и каштаны, — но как будто и не те. Солнце било косыми, фантастическими, желтоватопрозовыми лучами. Пахло опьяняющим запахом лилий, ландышей или акаций. Голова кружилась, как весной в цветущей теплице. Улицы кипели народом. На балконах и в окнах развевались веселые, причудливые флаги, знамена. Очевидно, был какой-то праздник. Осьми- и десятиэтажные дома были снизу доверху увешаны громадными хромофотографическими картинками в виде вывесок. Звуков подков и колес не было слышно. Странного вида экипажи, одноярусные, двух- и даже трехъярусные омнибусы, кареты, красивые с зонтами долгуши и какие-то паланкины, вроде подвижных беседок, наполненные проезжавшею публикой, двигались среди залитой асфальтом площади — как подумал Порошин — на обитых гуттаперчевыми шинами колесах и по гуттаперчевым рельсам, а главное — без помощи лошадей и пара. «А! с помощью сжатого воздуха! — догадался Порошин. — И какая масса грамотных охотников до чтения новостей... Все на крышах омнибусов, в паланкинах и долгушах с громадными листами газет». Едущая публика снизу казалась, с этими газетными листами, в виде двигавшейся громадной нивы белых грибов... За площадью была видна часть новой городской стены, окружавшей Париж. Простым глазом можно было рассмотреть, что на этой стене ходили в странных длинных одеждах вооруженные воины, а над ближайшей крепостной башней развевалось исполинское красное знамя с изображением желтого дракона.

«Что за чепуха! дракон! — подумал Порошин. — И откуда в Париже дракон? точно во сне, а между тем я вовсе уже не сплю».

Сгорая любопытством, он осмотрелся, увидел, что и на нем одежда, походившая на одяние уличной публики, поспешил отомкнуть дверь комнаты и спустился на улицу, так как наступал вечер и солнце готовилось зайти за башню с знаменем.

Очутившись на асфальтовой, в виде узорного паркета, мостовой, Порошин прежде всего убедился, что находится действительно среди тех же ему знакомых парижан: бойкая французская речь, веселые возгласы, шутки, азбука надписей на вывесках — все убеждало, что он в самом деле в Париже. Но как, с кем и о чем ему заговорить? Ведь он из далекого XIX века, ведь люди XX века сразу его распознают или просто, не поняв, сочтут за сумасшедшего, подозрительного, еще арестуют, запрут на все семь дней в тюрьму. Что у него с ними общего? И как эти новые люди встретят его понятия, самые обороты мыслей, речения, слова? «Надо спросить книжную лавку, — решил на площади Порошин, — кабинет для чтения, а еще лучше кафе-ресторан!» Там он лично и без постороннего пособия ознакомится с текущими событиями, с новостями того любопытного, неразгаданного дня... Но какого дня? Он заснул или, точнее, его стремились усыпить в среду, 15 августа 1868 года. Посмотрим...

«Нет! — сказал себе Порошин. — Не стану ни о чем спрашивать, ни о книжных лавках, ни о кафе-ресторане; сам все найду».

Отыскав поблизости кофейню, Порошин подошел к столику, взял газету с заголовком «Гений XX века» и стал ее читать.

Чем далее он читал этот «Гений» и другие газеты, тем более рябили в его глазах разные диковинки и чудеса: расписание подземных поездов железных дорог между Англией и Францией; экспедиция из всеславянского торгового порта, Константинополя, в срединное море Африки, искусственно устроенное на ме-

сте бывшей песчаной Сахары, куда напустили воду из более возвышенного Средиземного моря.

В одной из газет, в передовой статье, Порошин наткнулся на фразу: «В старые, незапамятные годы, после низвержения династии Бонапартов и, как известно, во время правления ныне угасшей династии Гамбеттидов...» Волосы шевельнулись на голове чтеца, и он боязливо оглянулся, не увидел бы его за чтением таких ужасов полицейский сержант.

«Ужели краснойбай Гамбетта мог действительно когда-нибудь сменить во Франции династию Наполеонидов? — подумал Порошин. — Но кто же теперь правит французами?» Едва он это помыслил, как ему в глаза попалась новая, более загадочная фраза. Он обратил внимание на заголовок последнего законодательного акта...

«Божьею милостью и по воле правительствующего высокого народа китайского, мы, европейские министры его светозарного величества императора Китая и богдыхана Европы, по зрелом обсуждении в местных и общем европейском парламентах, постановили и постановляем...»

«Как? китайцы? вот небывальщина! и откуда взялся в Европе богдыхан? — спрашивал себя Порошин. — Как бы это в точности узнать? Спросить? Но кого? Меня как раз сочтут за безумного, не знающего таких, по-видимому, общеизвестных вещей, как история дня, обратят на меня внимание... Вот что... — обрадовался Порошин, — надо обратиться к учебнику истории прошлого века или еще проще — купить календарь...»

Порошин подошел к буфету, выпил рюмку какой-то спиртной специи, очень отдававшей шафраном и имбирем, и закусил тартинкой; последняя тоже обратила на себя его внимание: оказалось, что это был ломтик хлеба с приправой «птичьего гнезда». Буфетчик и слуги были с бритыми головами, длинными, заплетенными косами и в черных шелковых китайских ша-

почках. Посетители сидели с опахалами; на головах военных были широкополые шляпы с шариками и павлиньими перьями. Везде отзывалось китайщиной, и это очень шло к французам, как известно, и в былое время, в XIX столетии, бывшим великими охотниками до разных «chinoiseries».

Найдя книжную лавку, Порошин купил и там же стал читать календарь. То, что он узнал из этого чтения, привело его еще в большее изумление.

Оказалось, что китайцы, которых, по исторической статье календаря, в половине XIX века считалось около 300 миллионов, уже в то время начинали смущать политико-экономов страшно быстрым ростом своего народонаселения. К концу же XIX столетия китайцев считалось до 500 миллионов, то есть половина всего человечества, живущего на земле. Наступил XX век, и в первую четверть этого нового века народонаселение Китая возросло до 700 миллионов. Жители Небесной империи, соперничая с своими соседями японцами, переняли у Европы все практические познания, в особенности гениальные технические изобретения европейцев в деле войны. Они завели громадную сухопутную армию в пять миллионов солдат и исполинский паровой флот в сто мониторов и в двое быстроходных гигантских паровых крейсеров. Покрыв свою страну сетью железных дорог, которые у них дошли до Западной Сибири и Афганистана, они сперва покорили и поглотили изнеженную Японию, потом завоевали и обратили в свои колонии республику Соединенных Штатов Америки, в чем им помогла новая истребительная междоусобная война Северных и Южных Штатов, которою наполнилось начало XX века при постыдном соперничестве двух тогдашних президентских династий. Переселив в завоеванную Америку избыток своего народа, теснившегося под конец, за недостатком земли, на плавучих и свайных постройках их рек и озер, китайцы обратили внимание

на Европу. Они послали свой флот в Атлантический океан, где в 1930 году произошла колоссальная морская битва китайских мониторов с мониторами еще существовавших тогда самостоятельных государств европейского материка — Англии, Франции, Италии и Германии. Дело, по словам календаря, решилось особыми подводными китайскими «минами-пушками», которые подплывали под килевые части европейских мониторов и, стреляя залпами бомб, начиненных динамитом, взрывали и топили эти грозные когда-то суда.

Европа в 1930 году была завоевана Китаем...

Отдельные, во время оно сильные и славные государства — Франция, Англия, Италия и Германия, поглотившие незадолго перед тем ряд второстепенных стран — Испанию, Австрию, Швецию и Данию, были в свой черед поглощены и упразднены китайцами. Победители прекратили их самостоятельное существование и обратили их, как и Америку, в свою колонию. Явилась федеративная Европа, которой богдыхан, в утешение туземных ученых и публицистов, дал название Соединенных Штатов Европы, подчиненных китайскому императору. Сам он с тех пор стал именоваться богдыханом Европы, как некогда английская королева носила титул императрицы Индии.

Порошин с трепетом стал доискиваться в занимательном календаре сведений о судьбах России. Она, к его утешению, уцелела в этой общей ломке вследствие своего дружеского китайцам нейтралитета, который она объявила во время нашествия жителей Небесной империи на Европу, — в отместку Англии за Пальмерстона и его преемников, Франции — за Наполеонидов, Австрии — за ее вечные измены и предательства, и Германии — за Бисмарка, «прижимавшего славян к стене»... «Досталось всем сестрам по серьгам!» — радостно подумал Порошин, читая эти откровения прошлого...

Богдыхан за дружбу к России, дав средство славянам окончательно изгнать турок в Азию («вон до какого времени была эта возня!» — подумал Порошин) и образовать на Балканском полуострове отдельную славяно-греческую дунайскую империю, дружественную России, не мешал и русским исполнить их последний главный долг... Русские, как гласил календарь, благодаря железной дороге, устроенной от Урала до Хивы, и нового передового поста китайцев на западе, до Афганистана, разбили англичан в Пешавере, выгнали их из Восточной Индии и устроили третью российскую столицу в Калькутте. Милости богдыхана к завоеванной Европе были, впрочем, неизреченны. Обложив европейский, покоренный его войсками материк тяжкою ежегодною данью — в миллиард франков — и обязанностью обрабатывать на своих фабриках исключительно китайское сырье, богдыхан упразднил все непроизводительные европейские армии и флоты («вон когда лига мира дождалась исполнения своей грезы об общем разоружении!» — не утерпел подумать Порошин). Заменив эти постоянные войска сухопутною и морскою гражданскою «китайскою жандармерией», китайцы окружили главные столицы и города упраздненных европейских государств новыми китайскими крепостными стенами, снабдив их своими гарнизонами и своими пушками, но за то они предоставили каждому из Соединенных Штатов Европы устраиваться по былой американской системе, на свой особый лад — без права носить и иметь какое бы то ни было оружие. Даже ножи и вилки исчезли из употребления; все в Европе с тех пор ели, как в Китае, только ложками и палочками.

Германия при этом с удовольствием сохранила свой «юнкерский ландтаг», Италия — «папство», Англия — «палату лордов» и «майорат», Франция — сперва «коммуну», а потом «умеренную республику», пре-

зидентами которой с 1935 по 1968 год были деятели с разными громкими именами, между которыми Порошин насчитал пять Гамбетт и двенадцать Ротшильдов. По прекращении «династии Гамбеттидов» (так и выразился календарь) Франция большею частью состояла под местным верховным владычеством президентов-евреев из банкирского дома Ротшильдов. Перенесясь в 1968 год, Порошин, следовательно, застал французов под управлением Ротшильда XII. Еврей-адмиралы в это время командовали французским флотом в океанах, еврей-фельдмаршалы охраняли, во имя китайского повелителя, французские границы, и еврей-министры, с президентом в пейсах и ермолке, встречали правящего Европой богдыхана Цао-дзы при недавнем триумфальном посещении последним Парижа, отчего и до сих пор, вторую неделю, парижские улицы и дома были увешаны флагами.

Французская республика с поры окончательной победы жителей Небесной империи мирно и дружно ужилась с китайским богдыханством. Прежде у французов империя чередовалась с республикой. Теперь у них разом и рядом, к общему удовольствию, были и та и другая.

«Вот почему на монетах, данных мне армянинем, — догадался Порошин, — с одной стороны вычеканены „Liberté, égalité, fraternité“ и надпись „Французская республика“, а с другой стороны — внушительная китайская бамбуковая палка».

Вышел Порошин из книжной лавки при вечернем освещении. Улицы и площади Парижа горели яркими, как дневной свет, электрическими солнцами. Проголодавшись, он зашел в громадный ресторан с надписью «Столица мира — Пекин», где вся прислуга была одета китайцами. Он потребовал себе модных блюд; ему подали жареного фазана и рисовой каши, которые он торопился есть, чтобы не опоздать в театр. Но он заметил, что другие посетители «Пекина» между

едой брали со стола какие-то трубочки и подносили их к ушам. Он осведомился у гарсона: что это? Ему ответили: «телефон».

— Да в чем же дело, не понимаю? (Тогда, в 1868 году, еще не знали этого изобретения.)

Ему объяснили, что каждая из трубочек, лежащих на столе, была соединена проволокой с различными театрами — оперой, водевилем, концертною залой — и что за небольшую особую плату посетитель может, кушая, в то же время следить за любой парижской и даже более отдаленной сценой.

Порошин поднес к уху первую попавшуюся трубочку: ему слышались аплодисменты, которыми публика встречала какую-то актрису в «Comedie Française». Он поднес к уху другую трубочку: стали слышны заключительные нежные рулады концертной арии, исполнявшейся в ту минуту в опере знаменитым кантонским певцом. Уходя из кафе, Порошин поднес к уху третью из трубочек: ему слышалась речь в какой-то аудитории о превосходстве реального элемента в искусстве, а именно — об окончательной замене фотографией всех родов живописи.

Так проспал Порошин в Париже или, как ему несомненно казалось, прожил семь условленных, веселых и беззаботных дней будущего 1968 года.

Денег, взятых Порошиным у армянина из XIX века, оказалось вдоволь, потому что все и в тогдашнем Париже было сравнительно дешево.

Он посещал всевозможные особенно модные увеселения. Все стремились в громадный железный и каменный, на манер древнеримского, Колизей. В моде были звериные травли, бой быков, борьба низших человеческих рас с тиграми и львами, конские скачки с невероятными препятствиями — через пороховые погреба с зажженными факелами, через динамитные батареи — и единоборство петухов и крыс. Все это производилось в названном Колизее. Роль древних гла-

диаторов-рабов исполняли в борьбе с дикими, пускаемыми на арену зверями нарочно для этой цели привозимые из Внутренней Африки жители озера Нианзе и Танганяки. Когда на арене Колизея лилась звериная или людская кровь, парижские дамы пили шампанское и бросали из лож победителям роскошные букеты, которые во время оно бросались Патти и Дженни Линд.

Порошин от Колизея переходил к бесчисленным кафе-шантанам, от последних к пирушкам с молодыми людьми, между которыми приобрел много знакомых. Удивляясь, что он стал способен к этого рода забавам, он нередко входил в споры с простодушными, всем и всегда довольными французами. Узнав, что Порошин русский, парижане были с ним особенно любезны. Он не стеснялся в беседах с ними.

— Да полно, какая же у вас республика, когда вы покорены китайским богдыханом и в его декретах именуется его рабами? где же ваша свобода? — спрашивал Порошин парижан.

— O, les chinois... ce sont nos meilleurs et bons amis...

— Но какие же вам они друзья, когда вы с прочею Европой им платите такую страшную дань и их знамя веет над стенами некогда славного Парижа?

— Зато мы избавились от царства адвокатов... Нет более адвокатов, — говорили ликующие парижане, — есть только прокуроры и милующий богдыхан...

Порошин узнал, что правосудие в XX веке очень упростилось. Давно замечая, что спиртные напитки и отчасти хлороформ развязывают язык, тогдашние ученые стали делать остроумные опыты и изобрели особую жидкость, из которой добыли газ, названный спирто-хлороформом, или алколо-хлоралом. Напуская этот газ в особую комнату, прокуроры силой вводили туда подозреваемых и подсудимых, и последние, на-

дышавшись предательским испарением, теряли главное из чувств — силу воли, после чего прямо диктовали стенографам все, что делали и говорили, все, что у них было в сокровенных помышлениях. С тех пор упразднились полицейские дознания, предварительные и судебные следствия, очные ставки, перекрестные допросы, доносы и отделения явных и тайных сыщиков.

— Потом, извините, вы всегда кичились свободой и мягкостью ваших нравов, — допытывал французов Порошин, — а у вас вон и теперь существует казнь...

— Нельзя! — отвечали находчивые парижане. — Каждый народ имеет право принимать меры в ограждение своей безопасности от преступников и злодеев!

— Но еще нелепость... Вы кичитесь республикой, равенством, свободой, а у вас, кроме китайского, общего всем вам гнета, есть еще местный, частный гнет... еврейский! Кроме многих прежних династий вы проходите наконец через династию израильских президентов своей республики, Ротшильдов... Извините, но это — позор! Евреи восседают у вас на троне Генриха IV и Людовика XIV, банкиры, биржевики красуются в креслах Робеспьера и Мирабо... Этого не представляла история даже таких торгашей, как англичане; у них тоже были и есть свои Ротшильды, но те у них не шли и не идут дальше банковских контор и несгораемых сундуков...

— Это мы сделали поневоле.

— Как поневоле?

— Евреи с началом нынешнего, двадцатого века через свои банковские конторы завладели всею металлическою монетою в мире, всем золотом и серебром. Производя давление на бирже, они получили неотразимое влияние и на выборные классы великой, но завоеванной китайцами Франции. Зато при первом же президенте из дома Ротшильдов у нас оказался фи-

нансовый рай: полное равновесие прихода с расходом в бюджете, устройство всех общественных отпращиваний на акционерный лад и окончательное введение удобных бумажных денег вместо металлических...

— Но вы говорите, что Ротшильды взяли верх через захват в свои руки всех металлов в мире?

— Да, золото всего мира перешло к ним, они им и донныне владеют, а нам за него предоставили, в виде векселей на себя, очень красиво отпечатанные ассигнации. Это значительно удобнее, их легко носить в кармане. Золото любят у нас носить одни, как вы, иностранцы.

— Вы упомянули также об устройстве всех общественных нужд на акционерный лад.

— Точно так.

— Как это случилось?

— За примером недалеко ходить. Со вступлением в управление Ротшильдов исчезли окончательно в домах лампы, печи и графины.

— Не понимаю, как это? — спросил Порошин. — Разве изменился климат, пропала зима, солнце не заходит с той поры и люди не нуждаются в питье?

— Вы недостаточно поняли меня, — ответил француз, с улыбкой вглядываясь в Порошина. — Я говорю только, что печи, графины и лампы окончательно исчезли с мудрым президентством Ротшильдов не только у нас, но, полагаю, и в других цивилизованных городах. А что эти редкости доброй старины действительно исчезли, это вам, вероятно, известно... и вы их теперь увидите разве только в музеях диковинок прошлых времен...

Порошин боялся далее об этом расспрашивать, чтоб не возбудить подозрения на свой счет. Он вскоре лично убедился, что каждый дом и каждая комната в новом Париже получали тепло, свет и воду из общего резервуара этих материалов, устроенного в нескольких километрах за городской стеной.

Он взял духовой фиакр, нарочно съездил и осмотрел это замечательное монументальное здание, доставлявшее особыми проводниками для парижан электрический свет — в их здания и уличные фонари, воду — в кухни, бани, умывальные столы и прямо в прицепленные к столам на гуттаперчевых трубочках стаканы и другие сосуды, и тепло — в каждый дом, в каждый обитаемый уголок. Все ограничивалось кранами: повернешь один — в комнате засветит яркая электрическая луна, повернешь другой — наливается сквозь мягкую трубочку в сосуды вода, повернешь третий — в холодной комнате становится, по желанию, тепло и даже жарко.

Проводники этих снадобий управлялись особыми регуляторами, экранами, градусниками и другими измерителями для расчета с акционерным обществом их поставщиков.

Это любопытное «центральное водо-, тепло- и светохранилище» Порошину показывал бойкий и говорливый привратник — «портье», хотя француз, но с итальянским профилем лица, одетый в цветное китайское полукафтанье и с длиною, щегольски заплетенною, до пят косой, по фамилии Бонапарт.

— Вы носите громкую фамилию? — спросил, смутившись, Порошин. — Не происходите ли от бывших во власти Наполеонидов? Их династия когда-то здесь правила...

— О, мосье! вы правы! — грустно ответил, покуривая особую сигаретку с примесью опиума, портье. — Мало ли что было в старину? Нам, скромным и верным слугам богдыхана, нет дела до прошлого этой счастливой страны... Вы, как иностранец, встретите и гарсонов в отелях из этой же, ныне обедневшей, фамилии, и ветошников, и продавцов каштанов и газет. Это все мои дяди и кузены... Благодаря многоженству много у каждого из нас, бедных провинциалов, родных.

— Какому многоженству? Разве во Франции мормонизм?

— Не знаю, мосье, что вы хотите сказать этим мудреным и мне непонятым словом. Только многоженство даровано Франции в правление предпоследнего из мудрых Ротшильдов, ныне правящих нами во имя пресветлого богдыхана, даровано в награду за допущение этой гениальной банкирской расы ко всем тайнам нашей государственной казны.

— Но почему же Ротшильды вас наделили именно этой наградой?

— А как же? — ответил с чопорностью ученого знатока самодовольный портье Бонапарт. — У Авраама и прочих праотцев было по несколько жен. Ну а введя иудейское исповедание в счастливой, процветающей Франции, наши новые правители рекомендовали и этот обычай.

— Так и еврейская вера введена у вас?

— Если хотите, у нас нет теперь уж никакой веры, — спокойно улыбнулся привратник. — Китайцы на этот счет особенно покладливы и дали нам полную свободу. Проповеди у нас заменены поучительными воскресными фельетонами министерских газет, а большинство обрядов нотариальными актами. Прибавилось только нотариусов и их писцов.

— Брак, однако же, очевидно, сохранился, если у вас введено многоженство? — спросил Порошин. — Какой, скажите, у вас брак, гражданский или тоже... китайский, то есть никакой?.. и на какие сроки?

— Брак у нас действительно китайский, то есть примененный, в духе века, к формам юридического поддержания имущества, или найма прислуги, квартир, — на год, на месяц и даже, для желающих, на более короткие сроки... О, мосье, китайцы — первые люди в мире.

...Порошин не заметил, как шли его минуты, часы и дни. Парижские новые нравы и особенно дамские наряды его повергали в изумление. Парижанки носили невероятные костюмы или, скорее, ходили почти вовсе без костюмов. На улицах и в гостях Порошин на них видел еще некое подобие легких, широких, в китайском вкусе бурнусов, сандалий и шляп. Дома же и на театральных сценах они вместо одежд, как дикари, имели лишь красивые, украшенные дорогими искусственными камнями пояса, да на ногах, руках и шеях — золотые, серебряные и алюминиевые браслеты, кольца, запястья и ожерелья. Каждая только и делала — купалась, душилась, заплетала волосы, кушала, посещала театры, звериные травли и влюблялась...

Для Порошина, вообще сдержанного и неохотника до пустых развлечений и забав, начался ряд таких эксцентрических походов, такой душевной и сердечной суеты, что он сам себе не верил, удивляясь, откуда у него берется такая пустота и такой задор.

Кутежи с уличными шалопаями, сидение по целым дням перед бычачьими и петушиными боями в Колизее, ужины с украшенными в браслеты и кольца красавицами, посещение местных палат и скачек на искусственных, подвижных сжатом воздухом лошадях и прочие развлечения до того замотали и вскружили голову Порошину, что он, и без того слабый здоровьем, окончательно выбился из сил.

Он особенно потом помнил свой последний день, проведенный в 1968 году.

В этот последний, роковой, седьмой день, в последние часы, минуты и секунды перед условным досадным пробуждением, Порошин — как он это ясно вспоминал впоследствии, — бешено и злобно хохоча в глаза какому-то французскому академику, раздражительно-едко повторял:

— Вы все изобрели и все выдумали! Надо вам отдать честь! Вы испытали и несете на себе иго евреев

и китайцев, а летать по воздуху все-таки не сумели и не изобрели... Достигли этого все-таки русские, русские, русские!..

Озадаченный французский академик только на него поглядывал.

— Притом... что у вас за нравы, извините, и какой цинизм во всем. Хоть бы эти костюмы у ваших женщин... Ха-ха! Одни кольца да запястья, как у дикарей...

— Но, позвольте, — вмешался француз. — Вы хоть и русский, но разве и у вас не введены такие же моды? Париж и теперь по этой части законодатель. Откуда же вы, что этого не знали и этому удивляетесь?

— Я с Крайнего Севера, из Колы, — смешавшись, продолжал Порошин. — Да не в том дело, хоть бы и у нас вы ввели такую же распущенность! Далее... Вы вконец убили девственность и невинность невесты, уничтожили святую роль матери. Все женщины у вас кокотки, да, кокотки! знаете это... древнее слово?

— Не слышал.

— У вас во всем невообразимый, разнузданный и дикий произвол страстей.

— Мы зато чужды предрассудков, — возразил с достоинством академик. — У нас везде поклонение природе, реальность.

— Это, пожалуй, забавно, но дико, дико до невозможности! — горячился и кричал на площади Трона Порошин, где происходил этот обмен его мыслей с ученым. — У вас полное падение искусств, поэзии, живописи, музыки! Ваша живопись заменена китайщиной, безжизненной, сухой, ремесленной, всюду лезущей и все поглощающей фотографией.

— Зато дешево, схоже, как дважды два, с природой и избавляет от пестроты красок.

— Нет, нет и нет! — кричал Порошин. — Фотография — сколок одного, мелкого и ничтожного момента природы; художественная живопись — могучее зерка-

ло природы в ее полном и идеальном объеме!.. Потом, музыка, бог мой! что у вас за музыка! Вагнеровщина, доведенная до абсурда... слышали про Вагнера?

— Это что за имя? в древности были Моцарт, Бетховен, Россини, — о Вагнере никто не знает...

— Был такой чудак, делавший с музыкой, как с кроликами, опыты сто лет назад. Вы, теперешние французы, развили его идеи и показали в точности, в какие трущобы нас вел этот и ему подобные борцы за музыку будущего... Мелодия у вас исчезла; ее больше нет и следа! Ни песни, ни бывшего задушевного, чудного французского романса, ни единой сносной музыкальной картины... Волны бессмысленных тонов и звуков, без страсти и без выражения, — хаос!.. Наконец, иду далее... куда вы дели драму, высокую комедию?

— Это что такое? — удивился академик-француз.

— Вы заменили комедию и драму — не стану вам объяснять их значения, если их забыли теперешние парижане! — с грустью сказал Порошин. — Вы заменили все это глупейшим, но реальным водевилем, с провальями и переодеваньями, гнусным сумбуром цинических, будничных, уличных сцен, как заменили былую оперу шансонетными дивертисментами, да притом в такое время, когда и все-то ваши шансонетки сплошь лишены тени мелодии, живого, задушевного мотива, наравне со всею вашею музыкой...

— Мы, реалисты, вас, к сожалению, совершенно не понимаем! — отозвались на площади некоторые слушатели этого спора. — Вы, мосье, точно вышли из какого-то допотопного архива, точно явились с того света, из отдаленной прадедовской старины.

— Да, вы правы! я жил и дышал иным веком, иною эпохой! Я вас не понимаю и от души сожалею! — произнес с новою запальчивостью Порошин. — Вы презираете все, что не ведет к практической, обыденной, низменной пользе! Вы пренебрегаете идеями великого философского цикла и дали развитие одному —

практическим, техническим, не идущим далее земли наукам и ремеслам. Вы отдали луч солнца за кусок удобрения, песню вольного, поэтического соловья за мычание упитанной для убоя телушки, а Вольтера и Руссо — вероятно, вы не забыли хоть имен этих светил вашей страны? — променяли на тупицу Либиха и другого тупицу, Вирхова. Надеюсь, этих-то ваших апостолов вы отлично знаете и помните донныне?..

— Зато мы верны природе! — повторил академик-француз, закуривая у столика ресторана кальян с опимом.

— Зато вас, свободных французов, поколотили и завоевали китайцы и поработили евреи, — с бешенством ответил Порошин...

III

ПРОКАЗЫ ДУХОВ

— Это было лет десять тому назад, — рассказывал штабс-капитан Заруцкий. — Я в качестве юнкера должен был держать экзамен на офицерский чин в тверском училище. Приехав в Тверь, я долго искал квартиру. Мне хотелось нанять одну-две комнаты от жильцов, с мебелью, чаем и со столом, чтоб иметь скромный свой угол, без толкотни и шума гостиницы.

Бродя по городу, я увидел в отдаленной, глухой улице небольшой деревянный двухэтажный домик с билетиками на окнах второго этажа и нанял здесь две комнаты, через сени от хозяев квартиры. Хозяева оказались добродушными старичками, мужем и женой. С первого же дня они окружили меня полным вниманием, заботливо содержали мои комнаты, одежду, белье, отлично кормили и вообще ухаживали за мной, как за родным. Возвращался я домой поздно, спал после учений и всяких служебных занятий как убитый.

Встретя некоторых знакомых в Твери, я свободные вечера проводил у них.

— Где вы наняли квартиру? — спросила меня одна тверская дама на одном из таких вечеров.

Я назвал улицу, дом и квартирных хозяев, Губаревых.

— У Губаревых? — произнесла дама. — И вы не боитесь?

— Чего же мне бояться? Люди отличные, смотрят, как за родным сыном, — ответил я.

— Помилуйте... да эта квартира по месяцам стоит незанята, все белеют в окнах билетики...

— Ну и что же? не сходятся ценой, а я не торговался, улица тихая, поросла даже травой; ни пешех, ни проезжих, весь день занимайся, читай, пиши, — никто не помешает, не развлечет.

— Как не помешает? Да разве вы не знаете, — сказала с непритворным ужасом дама, — в этом доме и именно в верхнем его этаже давно поселилось привидение, не дающее покоя его жильцам. Оно ходит по ночам без умолку по комнатам, двигает мебелью, выпивает воду, перекладывает с места на место разные предметы...

— Ну, крепко же я спал все эти ночи, что не заметил этого, — сказал я с улыбкой.

— Уверяю вас... клянусь, в городе все это знают и избегают губаревской квартиры...

— Деревянный дом, — спросил я, — желтый, с мезонином? Может быть, не та улица, не тот дом?

— Именно Губаревых... Одни мои знакомые, напуганные, взволнованные, едва убрались.

— Со мной шашка и револьвор, — произнес я, — бояться нечего... Я постараюсь поладить с этим привидением.

Разговор с тверской дамой, однако, произвел на меня впечатление. «Вот провинция, — думал я, — не-

пременно что-нибудь сочинит, наплетет, раздует в гору и сама потом волнуется собственными страхами! И откуда это взялось? Любопытно все-таки...»

Привидение не выходило у меня из головы. Я не совсем спокойно пришел с вечера, где это слышал, домой; втащился по скрипучей лестнице, позвонил. Хозяйка подала мне свечу, проводила в мои комнаты, осмотрела постель, поставила свежей воды в графине, спичек на столик у изголовья и, пожелав мне, как всегда, спокойной ночи, ушла, забрав для чистки мое платье и сапоги.

Я прошел в туфлях в сени, запер дверь на ключ, разделся и лег, осмотрев предварительно все закоулки в обеих моих комнатах, заглянул под мебель, за печку, в шкаф и комод и даже за оконные занавески.

В то время печатался любопытный переводный английский роман в «Русском вестнике», мною начатый давно. Я взял книгу «Русского вестника», прочел пять-шесть страниц и, чувствуя дремоту, усталый от дневных занятий, крепко уснул, отложив разогнутую книгу на столик у кровати. Помню, что, засыпая, я все думал: «Эка наплели! и откуда взяться здесь привидению, призракам? В таком домишке, и притом в Твери! Добро бы где-нибудь в Шотландии, в замке каком-нибудь, или в швейцарских мрачных горах... а то на антресолях, у Губаревых... в улице, где выросла трава, пасутся козы и не видать по дням человеческого лица...»

И вдруг — слышу шелест, явственный шелест, у изголовья.

Я проснулся, стал прислушиваться. В полной тишине, впотьмах, слышу, точно кто-либо шарит по столу, переворачивает листы разогнутой книги журнала.

«Мыши!» — подумал я сперва, вспоминая, как стоял до моего прихода круглый, на одной ножке, столик и как я его взял от стены и поставил у изголовья.

«Нет! — сказал я себе, размыслив немного. — Мыши не могли взобраться на стол по гладкой ножке, да еще потом взлезть из-под круглой доски наверх. А столик стоял, не касаясь ни ближней мебели, ни моей постели...»

Подождав несколько минут, я опять услышал ясно различаемый шелест переворачивания листов книги, лежавшей на столе.

«Надо изловить, поймать», — подумал я, изловчась тихо встать и зажечь спичку.

Приподнявшись на локте, я медленно нащупал на столе спичечницу, взял ее в руки и приготовился черкнуть спичку о края спичечницы. В эту минуту изумленный, потрясенный необычайным явлением мой слух явственно различал, как невидимая чья-то рука мерно переворачивала лист за листом в спокойно лежавшей книге.

«Да! это не мыши, не шутка чья-либо, — подумал я, прислушиваясь к шороху на столе и готовясь увидеть, откуда и кто протянул руку в запертую комнату и трогал ею книгу. — Любопытно увидеть эту бледную руку бледного призрака...»

Я нажал спичку, черкнул ею. Спичка вспыхнула, ярко осветив стол, мою подушку и меня, сидевшего в одном белье на постели.

Никого в комнате не было, и ничья рука не касалась книги. А между тем — я это ясно видел и помню все до мелочей — в то мгновение, когда спичка вспыхнула, тронутый чьею-то незримою рукой, лист перевертывался на моих глазах с одной половины разогнутой книги на другую.

Спичка погасла. Я зажег свечу, обошел с нею опять обе комнаты, отомкнул дверь в сени, заглянул и туда, смотрел снова за печь, в шкаф и комод, под мебель и за занавески, — никого в комнатах не было, и везде была полная тишина.

Лег я опять и некоторое время не тушил свечи, курил для развлечения себя, осматривал книгу, столик; наконец еще далее отставил последний от кровати, снял с него все, кроме книги, разогнутой, как прежде, пополам, и стал следить. Листы, пока горела свеча, не перевертывались. Заметив последнюю открытую страницу книги, я задул свечу, укутал голову в одеяло и старался заснуть. Прошло с полчаса, я заснул. Сплю и думаю: «Ну, это мне все казалось; вероятно, течение воздуха, — упругие разогнутые листы книги сами собой поднимались и с шелестом ложились на другую сторону книги...»

Меня вдруг опять как варом обдало. Я был разбужен явственным шелестом быстро и будто нетерпеливо перебираемых листов. И в то же время мне почудилось, что в другом углу комнаты, на этажерке, кто-то тронул графин и, будто наливая из него воду, зазвенел им о стакан...

«Недоставало еще этой чертовщины! — мыслил я с досадой, стараясь ничего не слышать и ни на что не обращать внимания. — Не встану, буду терпеть, буду спать».

Сон охватил меня под новый шелест листов и новое постукивание графина о стакан, из которого, очевидно, пили.

Утром я проснулся с первым солнечным лучом. Очнувшись и собравшись с мыслями, я прежде всего бросился к книге: посмотрел число, выставленное на верхней замеченной мною странице. Вместо цифры, как теперь помню, 177-й, на верху книги была 219-я страница; невидимая рука перевернула, пока я спал, ровно сорок две страницы, то есть двадцать один лист... Двадцать один раз пальцы привидения прикасались к книге!

Но каково было мое вторичное изумление, когда я подошел к этажерке и взглянул на графин, с вечера

наполненный и при мне поставленный хозяйкой: он был пуст... Призрак выпил его до дна...

— Да вы, может быть, не переменили воду? — спросил я хозяйку, хватаясь за это предположение, как за якорь спасения.

— Именно, сударь, вы правы; извините, я забыла переменить... Вода у нас, впрочем, хорошая; вы, вероятно, сами изволили ее выпить... жажда-с...

Я остолбенел.

— Вот и судите... — заключил Заруцкий. — Как это объяснить? Отлично помню, что хозяйка переменила воду и что я ночью не прикасался к графину. Кто же трогал книгу и выпил воду?

IV

ПРИЗРАКИ

— В начале шестидесятых годов, — сказала одна из наших собеседниц, — в Петербурге умерла старушка, моя родственница, тяжело хворавшая уже несколько времени. Сестра моей родственницы, жившая на другом конце города и уже дня два не выдавшая ее, вспомнила о ней в ту минуту, когда ложилась спать. Решив наутро навестить больную сестру, она потушила свечу и уж начала засыпать.

Вдруг видит при свете теплившейся лампы, что из-за ширмы, стоявшей перед ее кроватью, выглядывает голова ее сестры.

Эту голову, это лицо сестры моя родственница видела совершенно отчетливо и тотчас ее окликнула, удивляясь ее столь позднему, при нездоровье, посещению.

Ответа, однако, не последовало, и голова, высунувшись из-за ширмы, через несколько секунд исчезла...

Полагая, что такой поздний и поспешный заезд вызван каким-нибудь чрезвычайным происшествием

в семье больной сестры, моя родственница вскочила с постели, вышла за ширму, но ни там, ни в других комнатах никого не было...

Дама, о которой я говорю, была женщина очень образованная, вовсе не суеверная и отличалась скорее недостатком, чем избытком впечатлительности и воображения.

После первого впечатления от таинственного заезда больной сестры она старалась себе объяснить этот случай сном, предполагая, что сестра ей пригрезилась под влиянием беспокойной предсонной думы о ней.

Она не разбудила никого, снова легла в постель и спокойно проспала остальную часть ночи.

Но каково же было ее удивление, когда рано утром ее разбудили роковым известием, что ее сестра умерла в ту ночь и, как оказалось, в тот самый час, когда она видела ее лицо, выглянувшее из-за ширмы!..

— Другой случай был в Тифлисе, и с вашей покорною слугой. Я тогда была девочкой лет шести-семи. Приехала я в Тифлис с матерью, старшею сестрой, слугою и горничной. Мы остановились во втором этаже тамошней известной гостиницы; отвели нам несколько комнат с балконом на улицу. В первую же ночь, проведенную нами на кое-как устроенных постелях, среди раскрытых чемоданов и сундуков, случилось событие, сильно напугавшее меня.

Я спала на одной кровати с сестрой, девушкой лет семнадцати. Помню, что меня разбудил сдержанный, но тревожный разговор горничной с сестрой.

— Ах, барышня, не могу глаз сомкнуть, — говорила горничная. — На балконе ходит что-то страшное, рогатое... Еще с вечера нижние жилыцы уверяли, что оно ночью непременно заглядывает в окно...

— Да где ж оно, где? — шептала в ужасе сестра.

— Постоите, слышите? топчется по балкону ногами... слышите? вот опять шаги, подходит...

— Да откуда же подходит? балкон высоко над землей.

— Ай! — вскрикнула моя сестра, упав на подушку. — Рога, рога...

Как я ни была мала и труслива, я подняла голову из-за дрожавшей сестры, взглянула и обмерла: с надворья в бледных сумерках ясно обозначилось нечто косматое, с рогами, приникшее к окну и будто смотревшее, что делается в комнате. Я также упала носом в подушку и ну плакать.

Проснулась матушка, разбудили лакея. Едва нашли ключ, отдали его лакею, и тот из соседней комнаты, имевшей также выход на балкон, отпер стеклянную дверь, вышел наружу, осмотрел балкон: там ничего не было.

Но мы, то есть я с сестрой и горничная, отлично видели привидение — косматое, страшное и с рогами.

Ночь провели без сна. Наутро давай соображать, что бы это было? Слуга ходил к хозяевам, к нижним жильцам, которые перед нами стояли наверху, в наших комнатах, и перешли вниз из-за того же привидения. Он расспрашивал их, но ничего не добился. Хозяева уверяли, что это пустяки, что нам так показалось. Других свободных комнат не было, и мы поневоле остались в тех же, но приняли меры осторожности. Ключ от балконной двери матушка положила себе под подушку, чтоб иметь его всегда наготове. Осмотрели тщательно балкон, висевший над улицей, — оказалось, что к нему даже не подходила водосточная труба; осмотрели все смежные двери, окна, комнаты и легли спать.

Слуга заперся от коридора гостиницы, мы заперлись от комнаты, где спал слуга. Горничная взлезла на высокую лежанку, за печью, обставилась еще

стульями. Поговорив немного, мы погасили свечи и уснули...

И опять слышим топот. Я очнулась первая, взглянула в направлении окон и взвизгнула не своим голосом. Все вскочили, дрожим от ужаса: по балкону снова ходит чудище; длинные, как на рисунках о Страшном суде, загнутые над мохнатым лбом бесовские рога шевелятся за окном, и два глаза пристально смотрят сквозь стекло в комнату.

Слуга также проснулся.

— Барыня, ключ, скорее ключ! — шептал он за дверью.

Мы подали ему ключ.

Он изловчился, быстро отпер дверь — с балкона на крышу дома, бывшую над ним невысоко, прыгнуло что-то мохнатое, легкое, как ветер...

Утром слуга добился, в чем дело.

Оказалось, что этот страшный тифлисский призрак был козел; он являлся с соседнего двора, сеновал которого был на склоне горы, как раз в уровень с крышей гостиницы. Покушав сена, козел имел обычай вскакивать в слуховое окно сеновала и странствовать по окрестным крышам, крыльцам и балконам. Перед тем в наших комнатах — до нас и нижних жильцов — долго жил какой-то одинокий постоялец. Он имел обычай пить по ночам чай у окна и, заметив спрыгнувшего с крыши на балкон козла, давал ему сухарей и молока. Козел привык к нему и каждую ночь получал свою порцию. А когда этот жилец уехал, козел, продолжая свои посещения, сперва напугал и заставил втихомолку спуститься вниз жильцов, занимавших наши комнаты, а потом напугал и нас...

В Николаеве стояли в небольшом, одноэтажном домике два офицера. Сидели они вечером однажды у окна. Была зима. Светил полный месяц. Беседа при-

ятелей смолкла, они задумались, куря папиросы. Вдруг слышат, с надворья кто-то стукнул в наружную раму... раз, другой и третий. Переглянулись они, ждут. Минуты три спустя опять незримая рука постучала в окно. Один из них выбежал на крыльцо, обошел угол дома — никого нет. Дом был на краю города и выходил на обширный, ярко освещенный луною пустырь. Потолковали приятели и решили, что это им так показалось или что дрожало от движения воздуха стекло старой двойной рамы, хотя ночь была тихая, без малейшего ветра. На вторую ночь повторилась та же история, на третью снова. Это вывело офицеров из терпения. Осмотрев днем окрестные дворы, овраги и площадь, они решились выследить, что это за чудо? Ночью один сел с папироскою у окна, другой, одевшись в шубу, спрятался в тени у соседнего забора. Долго ли сидел он — последний не помнил, только опять раздался стук, явственное дребезжание наружной оконной рамы. Стороживший под забором офицер бросился к дому — из-под оконного притолка выскочила какая-то тень... Ночь на этот раз была несколько мгlistая; месяц то и дело прятался в налетавшие облака. Тень кинулась бежать по площади; офицер за нею, далее, далее, вот-вот настигает. Добежали они до какого-то оврага. У оврага стоит запряженный в сани конь. Тень бросилась в сани, офицер ее за полу и тоже в сани. Лошадь помчалась. «Зачем ты нас пугал?» — спрашивает офицер. Тень молчит. «Говори, говори!» — пристал офицер, теребя незнакомого и стараясь вырвать у него вожжи... Но сани нечаянно или благодаря вознице раскатились, и офицер вывалился среди пустынного, занесенного снегом взгорья. Он едва нашел дорогу и возвратился домой к утру, с трудом выбравшись из оврагов, куда его завезла незнакомая, ускользнувшая от него тень.

ТАИНСТВЕННАЯ СВЕЧА

Некто Кириллов, будучи командирован в приволжские губернии, ехал туда с своим секретарем. Надо было свернуть с большого почтового тракта на проселок. Кириллов ехал в собственной коляске, по фельдъегерской подорожной и открытому листу. Дело было спешное и не терпящее отлагательств. Проселочный путь оказался очень удобным. Погода была перед тем сухая. Стоял превосходный, весь в зелени и цветах, оглашаемый птичьими свистами май. Но едва странники проехали верст полтора, меняя в волостях обывательских лошадей, небо заволокло тучами, стало пасмурно, и пошел теплый тихий дождь. Дорога мигом испортилась. До места назначения, небольшого уездного города, оставалось два-три перегона. В предпоследней волости дали Кириллову лошадей нехотя, уговаривая его переждать, пока просохнет. Он на это не мог согласиться. Лошади пристали. Едва сделав с обеда до вечера верст десять—пятнадцать, коляска насилила втащила в какую-то разбросанную, заросшую садами деревню и остановилась в окoliце: ни взад ни вперед.

— Переночевали бы, ваше превосходительство, — сказал обывательский ямщик. — До Терновки еще семь верст, а лошади не довезут.

— Какая это деревня?

— Дубки.

— Государственных крестьян?

— Вольная.

— Расправа есть?

— Есть-то есть, да нетути лошадей. Тутешние все гоняют на ночь в луга. А пока за ними сходят, настает и ночь. Эвوسي, и солнышко заходит.

— Где же тут перебыть?

— В постоялом разве... да нет, барин, там кабак, — уж не знаю, куда вас и вести. Мужики все в отхожих работах, остались, почитай, одни бабы.

— Да вон же у вас церковь, — отозвался секретарь. — Значит, есть священник.

— Есть, — ответил ямщик.

— Ну, вези к батюшке.

Подъехали к дому священника, на обширной, поросшей травой площади. Священник оказался вдовцом лет пятидесяти, очень серьезным, благообразным и радушным человеком.

Узнав, что гость его важный в столичной иерархии чиновник, он удвоил к нему внимание, предложил странникам чаю, ужин и собственную опочивальню.

Кириллов с секретарем напились чаю и закусили на воздухе, на крыльце попова домика, выходявшего окнами против церкви. Дождь перестал, и, хотя небо еще было заволочено тучками или, скорее, туманом, на дворе было тепло и так тихо, что слышался говор отдаленных переулков, где засыпала с быстро наставшими сумерками наморившаяся за день деревня. Гости и хозяин засиделись долго у столика, накрытого белой скатертью и уставленного скромным угощением сельского священника.

— Что у вас такая маленькая церковь? — спросил Кириллов. — Точно выросла в землю и даже будто покачнулась.

— Древний храм, очень древний, — отвечал священник. — Еще при моем прадеде лажена, а при деде достроена... Мхом поросла, и колокольня точно как бы наклонилась маленько, но еще держится.

— Что же, мало средств, нечем обновить?

— Народ здесь смирный, свободный, как воздух, — ну, и не тем занят. А церковь древняя, и строили ее древние, благочестивые люди...

Поговорили еще гости, поблагодарили хозяина за хлеб-соль и, распорядясь насчет дальнейшего с утром пути, ушли спать. Комната, где им предложили ночлег, выходила окнами на площадь. Священник лег в чистой приемной, смежной с этой комнатой.

Боясь простудиться, Кириллов лег, не открыв окна, и потому от духоты долго не мог заснуть.

Постель священника, на которой он расположился спать, была у стены против окон; секретарь лег на диванчик у двери. Свечу погасили и смолкли. Затих по соседству и священник. На дворе еще более стемнело.

Так лежал, ворочаясь и думая о разных разностях, Кириллов час или более того. Обернувшись на постели к окну, он стал всматриваться в очерк церкви, неясно рисовавшейся в сумерках.

Ему показалось, что церковь слабо освещена...

«Вероятно, небо окончательно очистилось и вошел месяц за нашим домом, — подумал Кириллов, — лунные лучи и отражаются в церковных окнах».

Кириллов приподнялся на постели, взгляделся пристальнее. «Нет, это не лунные лучи! — сказал он себе. — Все окна подряд, но освещены только три левые, в главной части церкви, а правые, в приделе, под колокольней, темны, — значит, церковь освещена изнутри».

Чем более всматривался Кириллов, тем явственнее стал различать красноватый мерцающий блеск, отличный от бледных лунных лучей.

«Свеча! — подумал он, — в церкви зажжена свеча! Либо там воры, либо покойник... Но какая неосторожность — ставить на ночь у гроба, в такой ветхой церкви, свечу!»

— Батюшка, а батюшка! — сказал Кириллов, помнивший, что священник шевелился в соседней комнате несколько минут назад. Оклик пришлось повторить.

— А? Что прикажете? — отозвался из-за двери проснувшийся хозяин.

— У вас, батюшка, светится в церкви.

— Извините, там темно, и ключи у меня.

— Да отчего же светится? Не забыли ль погасить какую свечку у образов? Была сегодня вечерня?

— Не было.

— Так не стоит ли там покойник? — спросил Кириллов.

Священник повозился по полу ногами, очевидно отыскивая башмаки. Через минуту он появился, в халате, на пороге.

— Где светится? — спросил он, глядя в окно. — Вот странно, в церкви действительно покойник... его вынесли за час до вашего к нам прибытия... но только никто у образов, а тем паче у гроба, не зажигал свечи.

— Угодно ли, пойдем, стоит посмотреть, — сказал Кириллов, любопытствуя узнать, что это за странность.

Священник нехотя достал из-под подушки ключи. Разбудили секретаря. Тот, узнавши, в чем дело, в особенности засуетился. «Чудеса, чудеса! — шептал он. — Покойник... и светится».

Гости и священник вышли на площадь. Три окна явственно и без всякого сомнения были изнутри слабо освещены. Но едва любопытствующие стали подходить к церкви, свет внезапно погас.

— Нам это показалось, — заметил священник. — Никакого огня в церкви быть не может. Даром только, сударь, потревожились... помилуйте, у нас очень строго насчет огня.

Кириллов уж повернул к дому. Ему хотелось спать.

— Нет, ваше превосходительство, — засуетился секретарь, — так этого оставлять бы не следовало... осмотрим церковь...

Делать нечего. Священник, гремя ключами, отпер церковную дверь. У секретаря нашлись спички. За-

жгли стоявший в приделе, у порога, фонарь и вошли в храм.

Церковь — как все сельские церкви: чистая, уютная. Пахнет ладаном. Посредине, перед алтарем, стоял гроб с покойником, каким-то молодым, суровым и красивым работником. Непокрытое лицо глядело спокойно, точно умерший заснул.

— Горячка-с... — вскользь сказал священник, идя к алтарю.

Кириллов и секретарь с ним осмотрели алтарь, шкаф с ризами, поднимали покров алтаря, покров, накинутый на гроб, все углы главного и входного церковных отделений и даже приподнимали покров над небольшим аналоем, стоявшим у гроба.

Священник тем внимательнее осматривал церковь, что ему казалось всего правдоподобнее, как он потом говорил, искать, не притаился ли где вор.

Еще потолковали, еще осмотрели церковь, подняв выше фонарь, — возвратились и снова легли спать.

Решась более не думать о виденном свете, Кириллов обернулся к стене, но еще мельком взглянул с постели на церковь, и на этот раз ее окна были темны.

Прошло с час или более. Кириллов хорошо помнил, что он спал и, как ему казалось, спали и другие. «Этакая чепуха иной раз пойдет в голову, — думал Кириллов во сне, — да не одному, а всем троим; трое видели свет в запертой церкви, и, не пойдя туда, сами не осмотри, на всю жизнь осталась бы легенда о заколдованной свече...»

«Ах я простота! — вдруг пришло на мысль опять пробудившемуся Кириллову. — Ну как я не догадался? да и священник хорош! Объяснение прямое и весьма несложное... За церковью должен быть тот именно постоялый с кабаком, куда нам не советовали заезжать... Ну, очевидное дело: на постоялом еще не спят, окна его освещены и, просвечивая сквозь окна церкви, ввели нас в такое заблуждение».

С этою мыслью Кириллов опять старался заснуть, соображая, как он утром пристыдит священника, бывшего о таком обстоятельстве.

В это время Кириллову показалось, что его секретарь почему-то не спит. Как уж ему это показалось, он впоследствии не мог и объяснить: сам он лежал лицом к стене, и в комнате была полная тишина.

Он снова медленно, задерживая дыхание, приподнялся на локте и тихо обернул голову в комнату...

Секретарь сидел в одном белье, спустив ноги на пол с дивана, и неподвижно, как бы в оцепенении, смотрел в окна на площадь. На дворе окончательно стемнело, и на этом черном, ночном фоне еще неуловимее и мрачнее рисовалась ветхая, вросшая в землю церковь, с покачнувшеюся набок сквозною деревянною колокольней.

Кириллова обдало как варом. Волосы шевельнулись на его голове...

Три левых окна церкви были снова и уж теперь явственнее освещены изнутри...

— Что вы, Иван Семеныч? — спросил Кириллов секретаря. — Не спите?

Тот, не находя слов на коснеющем от волнения языке, только показал рукой на церковь.

— Батюшка, а батюшка! — сказал Кириллов, ступая за порог комнаты, где спал священник. — Вставайте, в церкви опять огонь.

— Быть не может, что вы!

— Вставайте, глядите.

Все трое опять вышли на крыльцо. Церковь была, видимо, изнутри освещена.

— А постоялый? кабак по тот бок площади? — спросил Кириллов. — Это его окна просвечивают...

— Постоялый в другом конце села, а за церковью — общественный, всегда запертый хлебный магазин.

— Кругом обойдем, кругом, ваше превосходительство, — проговорил наконец онемевший от волнения и страха секретарь.

Взяли фонарь и, его не зажигая, тихо, без малейшего шороха, обошли кругом церковь. Все здания на площади были темны; в окнах храма при обходе священника и его гостей ясно мерцал слабый, будто подвижный, огонек, погасший мгновенно, едва они обошли церковь.

— Войдем, снова осмотрим, — прошептал уже не с прежней смелостью Кириллов. — Нельзя же так оставить... или это общая нам троим галлюцинация, или в церкви действительно, то вспыхивая, то угасая, горит незамеченная нами при первом осмотре свеча... очевидно, мешал ее разглядеть свет фонаря.

— Войдем без того, — произнес робким, дрожащим голосом секретарь.

— С нами крестная сила! — сказал священник, снова отмыкая дверь.

В церкви было темно. Ни одна свеча перед алтарем и в других ее частях не горела. Покойник лежал так же неподвижно. Наверху только, на колокольне, чирикая, возились воробьи да взлетывали галки и голуби, очевидно чуя близкий рассвет.

— Это там, это оттуда... белый голубь, может быть! — прошептал секретарь.

— Какой белый голубь? — спросил священник.

— Да тот, которого носят бесу на кладбище за неразменный рубль! Иной раз вырвется, бесы погонятся — ни голубя, ни рубля...

— Стыдно, сударь, такое суеверство! — сказал священник, дрожащими руками зажигая в сенях фонарь. — Извольте идти на колокольню... осмотрим, коли ваше желание, всех голубей, галочье и воробьев.

Кириллов предложил принять меры осторожности. Выходную дверь церкви заперли изнутри замком

и пошли по витой, узкой внутренней лесенке на колокольню. Птицы при блеске фонаря шарахнулись и шумными стаями, цепляясь о звонкие края колоколов и о пыльные стены, стали вылетать с колокольной вышки.

— Ну, где же ваш белый голубь? — спросил священник, когда осмотрели колокольню. — А теперь, для ради достоверности, исследуем снова и церковь.

Опять с фонарем обошли алтарь, осмотрели шкаф и все углы и поднимали покровы над алтарем и покойником. Нигде ничего, церковь пуста.

— А все сие от безверия, — начал священник. — Вот у вас белые голуби... а там, может, и еще какие праздные сплетения...

Он не договорил. Кириллову в эту минуту вздумалось приподнять покров над небольшим аналоем, стоявшим у гроба. Этот аналой они уж в первый приход осматривали.

Кириллов взялся за край покрова, приподнял его и окаменел. Секретарь вскрикнул. У священника из рук чуть не упал фонарь...

Что же они увидели?

Под покровом узкого невысокого аналая, съежившись, сидела худенькая, сморщенная как гриб, седая, повязанная по лицу платком старушонка...

— Ты здесь чего? — спросил, первый опомнившись, священник...

— Зуб, батюшка, зуб совсем одолел! — проговорила старушка, хватаясь за обвязанную щеку.

— Ну так что же, что зуб?

— Люди это сказывали, научили, — отвечала, дрожа, старушонка. — Возьми клещи и выдерни у покойника тот самый зуб... и пройдет на веки веков...

— Так ты, Федосеевна, грабить покойника?

— Вот клещи и свечка, — ответила, падая в ноги священнику, Федосеевна. — Не погуби, батюшка, — совсем одолел зуб...

— Но где же ты была, как в первое время мы приходили?

— На колокольне пряталась. Не погуби, отец Савелий, нет житья от этого самого, то есть кутного зуба.

— Ну и выдернула у покойника?

— Крепонец больно... дергала, дергала — а тут страх... а тут, Господи, какой страх! и руки дрожат...

VI

ПРОГУЛКА ДОМОВОГО

— Это было года два назад, в конце зимы, — сказал Кольчугин. — Я нанял в Петербурге вечером извозчика от Пяти Углов на Васильевский остров. В пути я разговорился с возницей ввиду того, что его добрый, рослый вороной конь при въезде на Дворцовый мост уперся и начал делать с санками круги.

— Что с ним? — спросил я извозчика. — Не перевернул бы саней...

— Не бойтесь, ваша милость, — ответил извозчик, беря коня под уздцы и бережно его вводя на мост.

— Испорчен, видно?

— Да... нелегкая его возьми!

— Кто же испортил? Видно, мальчишки ваши ездили и не сберегли?

— Бес подшутил! — ответил не в шутку извозчик. — Нечистая сила подшутила.

— Как бес? какая нечистая сила?

— Видите ли, все норовит влево с моста, на Аглицкую набережную.

— Ну? верно, на квартиру?

— Бес испортил, было наваждение.

— Где?

— На Аглицкой этой самой набережной.

Я стал расспрашивать, и извозчик, молодой парень лет двадцати двух, русый, статный и толковый, передал мне следующее.

— Месяц тому назад, в конце Масленой недели, я стоял с этим самым конем на набережной, у второго дома за Сенатом. Там подъезд банка, коли изволи-те знать... Вот я стою, нет седоков; забился я в санки под полость и задремал. Было два или три часа пополуночи. Это я хорошо заметил — слышно было, как на крепости били часы. Чувствую, кто-то толкает меня за плечо; высунул из-под полости голову, вижу: парадный подъезд банка отперт, на крыльце стоит высокий, в богатой шубе, теплой шапке и с красной ленточкой на шее, барин, из себя румяный и седой, а у санок — швейцар с фонарем.

— Свободен? — спросил меня швейцар.

— Свободен, — ответил я.

Барин сел в сани и сказал: «На Волково кладбище». Привез я его к ограде кладбища; барин вынул бумажник, бросил мне без торгу на полость новую рублевую бумажку и прошел в калитку ограды.

— Прикажете ждать? — спросил я.

— Завтра о ту же пору и там же будь у Сената.

Я уехал, а на следующую ночь опять стоял на набережной у подъезда банка. И опять в два часа ночи засветился подъезд, вышел барин, и швейцар его посадил в сани.

— Куда? — спрашиваю.

— Туда же, на Волково.

Привез я и опять получил рубль... И так-то я возил этого барина месяц. Присматривался, куда он уходит на кладбище, — ничего не разобрал... Как только подъедет, дежурный сторож снимет шапку, откроит ему калитку и пропустит; барин войдет за ограду, пройдет малость по дороге к церкви... и вдруг — нет его! точно провалится между могил, или в глазах так зарябит, будто станут запорошены.

«Ну, да ладно! — думаю себе. — Что бы он ни делал там, нам какое дело? Деньги платит». Стал я хозяину давать полные выручки, три рубля, не менее, за день, а рубль-то прямо этот ночной пошел на свою прибыль. Хозяин мне справил новый полушубок, да и домой матери я переслал больше двадцати пяти целковых на хозяйство. И лошади по нутру пришлось: то, бывало, маешься по закоулкам, ловишь, манишь поздних седоков; а тут как за полночь — прямо на эту самую набережную, к Сенату; лошадь поест овсеца, отдохнет, — хлоп... и готов рубль целковый! И прямо от Волкова по близости на фатеру в Ямскую...

Все бы шло хорошо; ни я барину ни словечка, ни он мне. Да подметили наши ребята, что хозяин уж больно мной доволен, — ну приставать ко мне.

— Федька с бабой важной сведался, она балует его, — стали толковать. — Угости, с тебя следует магарыч.

— Отчего же? — говорю. — Пойдем в трактир.

Угостил ребят. Выпили с дюжину пива, развязались языки. Давай они допытывать, что и как. Я им и рассказал. А в трактире сидел барин «из стрюцких» — должно, чиновник. Выслушал он мои слова и говорит:

— Ты бы, извозчик, осторожнее; это ты возишь домового или, просто сказать, — беса... И ты его денег без креста теперь не бери; сперва перекрестись, а тогда и принимай.

— Да как же узнать беса? — спрашиваю чиновника.

— А как будешь ехать против месяца, погляди, падает ли от того барина тень? Если есть тень — человек, а без тени — бес...

Смутил меня этот чиновник. Думаю: постой, сегодня же ночью все выведу на чистую воду. Стал я опять у банка. Вышел с подъезда барин, и я его повез, как всегда; в последнее время его уж и не спрашивал, — знал, куда везти...

Выехали мы от Сената к Синоду, оттуда стали пересекать площадь у Конногвардейского бульвара. С бульвара ярко светил месяц. Я и давай изловчаться, чтоб незаметно оглянуться влево, есть ли от барина тень. И только что я думал оглянуться, он хватя меня за плечо... «Не хотел, — говорит, — по чести меня возить, больше возить не будешь; никогда не узнаешь, кто я такой...» Я так и обмер; думаю: ну как он мог узнать мои мысли? Я отвечаю: «Ваше благородие, не на вас...» «На меня, — говорит, — только помни, никогда тебе меня не узнать».

Дрожал я всю дорогу до Волкова от этакого страха. Привез туда; барин опять бросил бумажку.

— Прикажете завтра? — спрашиваю.

— Не нужно, — ответил. — Больше меня вовеки не будешь возить...

Ушел он и исчез между могилами, как дым, улетел куда-то.

Думаю: шутишь. Выехал я опять на следующую ночь на набережную, простоял до утра, — никто с подъезда не выходил. Вижу, дворники — метут банковский тротуар; я к ним.

— Кто, — спрашиваю, — тут живет?

— Никого, — отвечают, — нету здесь, кроме швейцара; утром приходят господа на службу, а к обеду расходятся; квартир никому нет.

Что за наваждение? Выехал я на вторую ночь, опять никого. Заехал с Галерной к дворнику, спрашиваю, — тот то же самое: видно, говорит, тебе приснилось. Дождавшись утра, вышел швейцар, я его сейчас узнал; спрашиваю — он даже осерчал, чуть не гонит в шею. «Я тебя, — говорит, — никогда и не видел, проваливай, какие тут жильцы! никто отсюда не выходил, и никого ты не возил, все это тебе либо сдуру, либо со сна, а вернее, спяна...» Постоял я еще ночь, утром поехал на Волково, давай толковать с сторожами; там я заметил рыжего одного, в веснушках; все

отреклись, и рыжий: знать тебя не знаем, никого ты не привозил, и видим тебя впервые, у нас строго заказано, никого в калитку по ночам на кладбище не пускаем... Так это и кончилось, с той поры я не езжу на Аглицкую набережную, заработок этот прекратился, одна беда — лошадь сноровилась и все ее тянет туда... Хозяин дуется, ребята прохода не дают; а что это за оказия была с банковским этим самым барином, ума не приложу...

— И это все правда?

— Сущая правда! вот вам святой крест! — заключил рассказчик.

Так рассказывал извозчик. Я на всякий случай, рассчитываясь с ним, заметил номер его бляхи и передал о его сообщении некоторым из знакомых, в том числе одному писателю, — собираясь еще раз отыскать этого извозчика и расспросить его подробнее, между прочим съездить с ним на кладбище и расспросить тамошних сторожей. Меня, однако, предупредили. Один из репортеров рассказал часть этой истории в газетной заметке; а через неделю по ее появлении в печати ко мне явился высший член сыскной полиции. Объяснив мне, что слух об извозчике, возившем «банковского беса», обратил на себя внимание полицейского начальства, это лицо просило меня дать средство полиции отыскать упомянутого извозчика.

— Но кто же вам сообщил обо мне? — спросил я полицейского агента.

Тот улыбнулся:

— Позвольте нам быть на этот раз всезнающими.

Я сообщил агенту номер бляхи извозчика, с одним условием, чтоб мне дали возможность ознакомиться с окончательным разъяснением этого дела. Каково же было мое удивление, когда дня через три меня уведомили, что извозчик найден, но от всего отперся, уве-

ря, что газета, сообщившая вкратце его рассказ, все на него выдумала. Я поехал по письменному извещению к агенту, производившему это исследование. Был призван извозчик. Последний, разумеется, меня не узнал: он меня видел ночью, притом в шубе и шапке, а теперь я был в сюртуке. На новые расспросы полицейского агента при мне извозчик повторял одно: знать ничего не знаю, ничего такого не говорил, все выдумано на меня...

Признаюсь, я пришел в немалое смущение. Бросалась тень на мое собственное сообщение приятелям. Мне пришло в голову попросить агента дать мне остаться с извозчиком наедине. Он согласился. Я прямо объявил извозчику, что я то лицо, которому он сообщил свой рассказ. Извозчик сильно смешался.

— И не стыдно тебе записаться, врать? — сказал я. — Теперь и я через тебя выхожу лгуном.

Извозчик оглянулся по комнате, замигал глазами.

— Ваше благородие, — сказал он. — Да как же мне не отпираться? Меня как взяли, сейчас это на ночь в арестантскую, паспорт отобрали, выручку отобрали и еще побили...

— Кто побил?

— Анисимыч и Николай Федосеевич.

— Кто это?

— Вахтера в арестантской.

Меня возмутило это признание. Я позвал полицейского агента, сообщил ему жалобу извозчика и просил его при мне, немедленно возвратит извозчику паспорт, выручку и уплатить его убытки за три дня ареста, прибавя что-либо и в вознаграждение за побои усердных вахтеров. Все это было исполнено. Извозчик упал агенту в ноги. «Все расскажу, как было», — объявил он и поведал слово в слово все, что передавал сперва мне о том, как он возил на Волково банковского беса...

По указаниям извозчика было произведено дознание как на подъезде банка, так и на Волковском кладбище. Швейцар банка и кладбищенские сторожа остались при прежнем отрицании всей этой истории. Так она и поныне ничем не разъяснена. Но я утверждаю одно: извозчик был слишком простой и добродушный малый, чтобы выдумать свой фантастический рассказ. Он при нашем расставании прибавил только одно. «Должно быть, — сказал он, — в том месте погребен кто-нибудь без креста, оттого, сердечный, и мается, все ездит на кладбище к остальным покойникам, погребенным как след, по вере...»

VII

СТАРЫЕ БАШМАКИ

(Итальянская легенда)

Дело было в Италии, накануне великого праздника. Бедный архивный чиновник, живший на убогое жалованье, сидел в раздумье: дадут ли ему праздничное пособие. В комнате было холодно; он раздумывал: затопить ли ему камин? Надвинулись сумерки.

В его дверь постучались. Вошел плохо одетый старик с длинною белою бородой.

— Я бедный артист, — сказал он, — реставрирую старые картины при случае; но работы у меня мало, и начинает дрожать рука. Помогите чем-нибудь, и Господь да поможет вам счастливо провести с вашими детьми праздники, — заключил он с кроткою улыбкой серых глаз, в которых еще горел отблеск молодости.

— Жалею от души, — ответил чиновник, — я такой же бедняк, и у меня нет не только детей, даже собаки. Едва перебиваюсь, платя за эту каморку в четвертом этаже за дрова, за освещение и за платье, обязанный одеваться, как подобает казенному архивариусу. А пи-

ща! а подписка в пользу товарищей! Идите к богатым; крошки их трапезы ценнее наших хлебов!

— Нет ли у вас хоть пары старых поношенных башмаков? — произнес старик молящим голосом, протягивая руки.

— Нет! ровно ничего нет, что я мог бы вам дать.

— Верно вы не видите? Мои башмаки износились до невозможности, порыжели и пропускают воду, как две ветхих ладьи.

— У меня нет башмаков, — ответил сухо чиновник.

— Простите с миром! — сказал старик, склонив голову на грудь.

Он ушел, влача усталые ноги. Чиновник запер за ним дверь и пожал плечами, как бы кому-то доказывая, что иначе он и не мог поступить. «И в самом деле, — мыслил он, — будь у меня полон кошелек, я справил бы себе новое верхнее платье». То, которое висело под шляпой на стене, во многих местах уже показывало свое внутреннее настроение. Разбитое стекло в окне было заслонено куском пергамента с готическими ли-терами.

А погода? В такую ли погоду подобало встречать наступавший великий праздник? Шел снег. В его па-дающих хлопьях, казалось, виднелось лицо и белая борода. «Снег! он согревает бедняков-поденщиков, очищающих от него улицы; но было бы не худо, если бы вместе с снегом время от времени с неба падала бы пара башмаков».

Чтоб высушить собственные измокшие башмаки, чиновник подложил щепок и зажег пару полен, при-пасенных в камине. Его ноги были давно, как два ле-дяных обрубка. Он протянул их к огню, сложил руки на колени и задумался. В дыме затлевшихся полен ему опять повиделось скорбное и кроткое лицо старо-го артиста, голос которого, казалось, замерев, остался

в этой комнате. «Простите с миром!» — сказал старик. «С миром!» — шептал кто-то спрятанный в одежде, висевшей на стене. Чиновник обернулся и замер...

Кровать, накрытая красным одеялом с желтыми по нем цветами, заставила его вздрогнуть. Тягой воздуха в камин край одеяла колыхался. Под этим краем чиновник увидел другую пару своих башмаков, старых и действительно «весьма поношенных», но тщательно высушенных, вычищенных и приготовленных еще с утра под кроватью в ожидании завтрашнего праздника. Пара же совершенно новых башмаков дымилась, сушась у огня, на ногах чиновника. Ушедший бедняк, очевидно, разглядел те старые запасные башмаки и позволил себе помечтать о них, как хозяин башмаков раз в год обыкновенно мечтал о праздничном пособии, рассчитывая на доброе сердце министра, который, по всей вероятности, не подозревал о его существовании. И что же ответил чиновник старику? «У меня нет башмаков!» Но это ложь. Сказал ли он ее с умыслом или по забывчивости? Ужели с умыслом?

Край одеяла к стороне двери опять колыхнулся, точно старые башмаки, стоявшие под кроватью и также обращенные носками к двери, хотели идти сами собой прямо к старому художнику. Жаль стало чиновнику, что он так отпустил старика. Следовало бы ему отдать лишние башмаки.

«Что ты? что ты? — произнес кто-то внутри его. — Время сырое, а ноги всегда надо иметь сухие. Надевай завтра старые высушенные башмаки, сохраняй тело в здравии и тепле, для чего иначе было бы и родиться на свет?»

С этими мыслями чиновник разделся, лег и заснул. Утром он проснулся бодрый, веселый; надел лучшее свое платье, высушенные старые башмаки и пошел к обедне в собор. Башмаки несколько жали ему ноги, поскрипывая, точно новые башмаки первых городских

щеголей, несмотря на то что были «весьма поношенны». Утро стояло туманное. Звон колоколов глухо раздавался по улицам. В соборе на мраморном полу старые башмаки так опять крякнули и заскрипели, что некоторые из молящихся оглянулись на вошедшего. Он забился за колонны, стал усердно повторять молитвы. И снова он замер... Тихими шагами, чуть шурша стоптанными, развалившимися башмаками, к выходу из собора пробирался нищий старик. В полусвете храма неясно рисовались его сгорбленный тощий стан, набожно, покорно сложенные руки и белая длинная борода.

Первым чувством чиновника было броситься к узанному им артисту. Но обедня еще не кончилась; орган начинал греметь особенно торжественную песнь. Притом можно ли было меняться башмаками на ступенях храма?

Обедня кончилась. Собираясь угостить себя вкусным, праздничным завтраком, чиновник направился к площади фонтанов, куда, как ему казалось, мелькнуло что-то белое... Чиновник быстро шел к площади. В одном месте, в грязи, смешанной с снегом, он разглядел подошву старого, порыжелого башмака. Мальчик, шлепавший по грязи навстречу, поднял и подбросил ногой из лужи другую кем-то оброненную подошву, у которой торчала еще и половина каблука. «Нет, надо во что бы то ни стало найти старика и ему помочь!» — подумал чиновник. Ища бедного, теперь босого художника, он долго ходил из улицы в улицу, проголодался и решил наконец закусить.

Чиновник вошел в трактир, потребовал супу и дичи, жаренной в масле, под пряным соусом — отменно вкусная роскошь, которую он себе позволял раз в год, — и оглянулся. Полуосвещенная комната, табачный дым, висевший под сводом, и множество мрачных людей, молча или чуть перешептываясь евших вкруг

маленьких столов, — все это неприятно подействовало на вошедшего. Крепче закутавшись в платье, чтобы скрыть от назойливых взглядов свои часы, он сел на лавку, вглядываясь в глубину комнаты, где в догоравшем камине дымился огромный котел, а над ним с шумовкой в руке виднелся на стуле какой-то старик с босыми ногами.

Принесли миску супа. Чиновник с наслаждением ее съел. Пот выступил на его счастливом лице. А пока он доедал бульон, макая в него мякиш хлеба, старик, сидевший у камина, казалось, строго поглядывал на него. Пламя вспыхнуло под котлом: архивариус в его отблеске узнал, казалось, снова старого художника. Тот продолжал на него смотреть так пристально, что чиновник невольно опустил глаза. Но и сотня других глаз была устремлена на него из разных углов подозрительного подвала. «Пещера воров!» — пронеслось в его мыслях. Старик поднялся, показав трактирщику из-за плеча пальцем на архивариуса. Трактирщик усмехнулся, прошел в кухню и вынес оттуда порцию заказанного фрикасе.

Дичь оказалась невозможно жесткою. «Боже мой! но разве это фрикасе! — мысленно вскрикнул чиновник. — Это бифштекс из железа или даже еще хуже — кусок дерева в соусе! В жизни не ел ничего подобного...» И он жевал, жевал, поворачивая языком кусок жареного дерева и чувствуя, как судороги стягивают его челюсти.

Странная мысль пришла ему в голову: ему показалось, что он жует без надежды когда-нибудь проглотить то, что жует, — облитую соусом подошву старого художника, оброненную в грязи, на улице. И его зубы при этой мысли мгновенно почувствовали нечто особенно противное, нечто кожано-упорное, с запахом дубильной кислоты и ваксы...

Старик, ступая мягкими босыми ногами, прошел от камина к выходу; то был вовсе не художник. Кош-

ка трактирщика охотно доела брошенное ей фрикасе, казавшееся чиновнику то железом, то деревом, то подошвой.

Вкус кожи с запахом ваксы «весьма поношенных башмаков» надолго, однако, прилип к языку архивариуса. И нередко потом, подавая начальнику архива какой-либо древний пергаментный свиток или глиняный слепок с иероглифов, он задумывался, невольно поглядывая на свои всегда чистые и хорошо наваксенные башмаки.

VIII БОЖЬИ ДЕТИ

— В некотором царстве, в некотором государстве, — сказал один из наших собеседников, — жил счастливый человек. Он обладал отличным здоровьем, был средних лет, весьма умен, образован, а главное — богат. Свое богатство он нажил собственным трудом, умением и бережливостью. Это богатство вскоре стало громадным. Посторонние и даже близкие к этому человеку люди знали, что все его обширные, торговые и заводские дела идут необыкновенно успешно, но и не подозревали обширности его богатства, хотя в шутку между собою и называли его Индийский Набоб.

Набоб был холост и, как большая часть людей, вышедших из ничтожества, без рода и племени. Никто не знал его семьи; никто на его званых обедах и вечерах, которые он изредка давал своему кругу, не слышал от него о его отце и матери, а на шуточные замечания близких: «Вам пора бы в такой роскоши, в таких палатах завестись хозяйкой», он отвечал:

— Вот еще подожду... не все кончено... дела на всех парах... и какие дела! успокоюсь — тогда!

«Не все кончено! — улыбались про себя приятели. — Это ловится еще миллиончик! у богача желанием нет конца, их конец — одна могила!»

Набоб, однако же, задумал увенчать создаваемое им сокровище земных благ. Он затеял себе устроить уединенный, для одного его доступный приют отдохновения от ежедневных, неустанных, сверхчеловеческих трудов на пользу начатой им исполинской наживы.

Это задуманное «тихое пристанище» была загородная, невдали от столицы, где жил Набоб, укромная дача. Решено — сделано. Среди дремучего леса, между гор и скал, в часе езды от шумного торгового города был куплен и расчищен небольшой участок земли, в версте от станции железной дороги. Путники, едущие из столицы на простор провинций, в глушь полей и деревень, не подозревали, что за гребнем елового бора, у одной из подгородних станций, скрывался очаровательный домик столичного Набоба. Здесь было все, чтобы успокоить и понежить усталый дух и тело делового хозяина, чтобы никто его здесь не потревожил и не развлек.

Домик, во вкусе английских охотничьих коттеджей, с резными украшениями и башенками, был выстроен на пригорке, над крошечным озером, в которое впадал вечно гремучий светлый горный ключ. У подножия был небольшой, наполненный всякими древесными дивами садик. И все это — дом, озеро и сад — окружалось высокою, с железными иглами чугуною решеткой, через которую никто не мог перелезть. Лучшие, старейшие и преданнейшие из городских слуг хозяина были здесь поставлены сторожами, один — в виде привратника, другой — в виде дворецкого, еще несколько — в виде ловчих. Приученные громадные сытые псы берегли дачу у всех ее ворот и калиток. И все ворота, калитки и подъезды, сверх того, были с особыми, потайными замками и постоянно на запоре.

Красивый, молодцеватый Набоб, отделавшись от городских дел, подписав десятки деловых бумаг и телеграмм и отпустив бухгалтера, кассира, секретаря и кучу просителей, надевал пальто, фуражку, брал зонтик, дорожный мешок, садился в вагон, доезжал до станции, шел оттуда пешком лесною тропинкой к даче и входил наконец в свое заповедное пристанище.

Его встречали светлые, уютные комнаты, устланные коврами и уставленные мягкой, роскошною мебелью. Красивые шкапы были полны книг, собрания гравюр. На этажерках и столах лежали со всего света газеты и иллюстрированные издания. Окна были уставлены цветущими растениями. А из окон, залитых солнцем, был вид на озеро, сад и окрестные, то голубые в дальнем тумане, то зеленеющие лесами, холмы и скалы. Нужно о чем-либо переговорить с городом — домик, при особых усилиях, был соединен телеграфною проволокой со станцией, и сам хозяин, некогда в бедности служивший телеграфистом, мог сноситься депешами с кем надо. Сверх того, из дачного кабинета в городскую квартиру был проведен телефон. Но ни по телеграфу, ни по телефону сюда не обращались. Хозяин раз навсегда отдал городским слугам приказ: не беспокоить его на даче, а всякое спешное дело оставлять до его возврата в город.

Наслаждение Набоба тишиною и прелестью его приюта, в особенности его укромного, никому, кроме его, не доступного сада, было истинное, полное. Он обходил дивные, издалека сюда перенесенные деревья и кусты, осматривал их, приглядывался к каждой живописно очерченной ветке, к каждому роскошному цветку, обонял их и любовался ими без конца. В кустах и к вершинам деревьев были подвязаны искусственные, приноровленные к птичьим породам, гнезда. Крылатое царство с весны наполняло затишье сада, привольно здесь выводило детей и, с веселым щебетанием

улетая в горы и вольные леса, разносило всюду крылатую славу гордому своим приютом хозяину.

Наступила новая весна. Снега растаяли, горные потоки сбежали в долину. Леса и сады оделись зеленью. Стало тепло, зацвели кусты и травы. Птицы слетались, суетливо принялись таскать новый хлам и пух в старые, очищенные гнезда.

Был теплый безоблачный майский вечер. Набоб подъехал с гремящим и свистящим поездом, прошел знакомою тропинкой к домику, сказал два-три ласковых слова дачной прислуге, с осени его не выдавшей, бросил на стол дорожный мешок, спросил, все ли благополучно, и ушел в сад, заперев за собою балконную дверь. Он не узнал сада: так все здесь, казалось, с новой весной окрепло, разрослось и еще более похорошело.

Но особенно он стремился взглянуть на один род дорогих и редких лилий, выписанных им откуда-то из-за моря, из Японии или Австралии. Таких лилий в царстве, где жил Набоб, еще никогда не видели и о них не слыхали. Лилии были небесного, голубого цвета, с розовыми каймами, точно разрисованные красками зари, и далеко от них лилось тонкое, чарующее благоухание. Лилии, посаженные у озера, как раз в этот вечер, по расчету хозяина, должны были расцвести.

Набоб прошел несколько тропинок, усыпанных то серым, то оранжевым, то почти красным песком, присел на скамью, отер лицо, хотел вынуть и закурить сигару — и остановился. «Нет, — подумал он, — тот запах лучше; не оскверню его табачным дымом!» И он, потянув носом воздух, стал приглядываться, где его лилии? Рабочие, даже садовник из сада, по его приказанию были усланы заранее. Солнце скрылось за горой; в вечерней полумгле вырезывался из-за леса полный месяц. Птицы смолкли. Пахло смолистыми

почками тополей и распускавшейся сирени. Звенел где-то в траве сверчок, но и тот вскоре затих.

«Какая тишина! какая полная, чудная отрада! — мыслил Набоб. — И я один всему этому владелец, одним этим наслаждаюсь... И никто, ничья тень не мешает мне созерцать эти красоты, упиваться этим воздухом, этими ароматами. Я никому не сделал зла; все мои подчиненные, пособники, товарищи и слуги любят меня, а многие из них мною только и живут, молят, чтобы продлилась моя жизнь. Не боюсь я ни предательства, ни измены; я всем нужен, все за меня стоят и меня не променяют ни на кого. А дела-то какие, какие подвиги я совершаю!.. И что мне еще нужно?» Он с минуту подумал, перебирая мысли. «Ничего мне более не надо... я всего достиг, все осуществил... миллионы на миллионы... да! вспомнил! — улыбнулся он. — Не видел еще, не обонял моих лилий...»

И вдруг Набоб вздрогнул и замер. Ему померещилась как бы шорох по тропинке чьих-то шагов. Как? в его саду, в его приюте, за этою высокою решеткой с острыми иглами — посторонние шаги? Ключ от потайного замка в железной калитке у дворцового. Кто же перелез через эти иглы, кто мог отомкнуть потайной замок? Набоб стал прислушиваться, приглядываться. Сумерки еще более сгустились; из леса стал более виден месяц. Его бледные лучи освещали верхушки ближней части деревьев. Шаги стихли. Внизу, у озера, послышался робкий голос. Да, говорят точно... шепчутся двое. Затаив дыхание, Набоб тихо, на цыпочках, пробрался ближе к деревьям, присел на другую скамью и стал слушать.

— Ах, дорогая,пусти меня! — шептал детский голос. — Пустипусти, дай только взглянуть.

— Нельзя, — отвечал другой, как бы более возмужалый голос.

— Дав почему же, почему? что за диво такое цветок?

— Нельзя, повторяю тебе, не таков человек здешний хозяин.

— Да какой же он?

— Это страшный богач и еще более страшный себялюбец! Все для себя и даже то, что для других, также исключительно для себя. Он накопил и копит сокровища и уделяет только тем, кто ему служит и кто помогает ему богатеть, копить еще более богатства.

«Ложь! — хотел крикнуть и удержался Набоб. — Ложь! — мыслил он, дрожа от негодования. — А моя служба и мои жертвы в богадельне для старых людей, а мои пожертвования на приюты, подачки бедным всякого звания?»

— Он жертвует на старых и хилых, — продолжал голос, — из честолубия, из-за отличий, которыми его награждают; он помогает бедным и сирым из жалкого тщеславия, из-за отчетов, печатаемых во всеобщее сведение. Его грудь увешана крестами, а он не устыдился в переполненной богадельне при виде кроткой девяностолетней старушки, вязавшей правнуку чулок в своей келейке, подумать и даже сказать: «Вот живет же старушонка, не умирает, мешает только другим занять место!» Он-то, которому выстроить сто новых богаделен нипочем!

Негодование Набоба при этих словах вышло из границ. Он хотел броситься к смелому болтуну. «Как? слуги недосмотрели, впустили наглого клеветника! Или дерзкие воры, может быть, грабители, убийцы, подобрали ключ? Надо пустить собак... дать знать по телефону, телеграфировать полиции...» Опять раздались тихие, точно золотые, голоса.

— Но цветок, цветок? — лепетал детский голос. — Не сорвать, позволь хоть дотронуться, понюхать...

— Боже тебя упаси его коснуться! — ответил другой голос. — Не только сорвать, дотронуться... черствый и злой, да, злой себялюбец если это узнает, если проведает, что здесь у него, в его сокровенном владе-

нии, была чья-либо посторонняя нога, он прогонит дворецкого, привратника и ловчих. Сам исполнительный, неутомимый с детства работник, он все это делает, будто бы из чувства справедливости; те будут плакать, и он, черствый, заплачет! Сердце у него, как и эта ограда железная...

— Ах, Серафима! милая! но меня манят эти цветы, и он за меня, маленькую, не сделает зла слугам.

— Это сильный и бессердечный человек, и ты, крошка, херувимчик, поймешь его черствость, если я тебе скажу, что он знает, как сотнями, тысячами мрут в бедности, в сырых подвалах, голодные дети городских нищих и фабричных, знает — и копит свои миллионы. В приюте, где он почетным членом, все переполнено... сотни голодных матерей там, в приемной и у крыльца, стоят, с прижатыми к груди безграмотными прошениями, жалобно глядят на попечителей — а те важно, молча проходят...

— Дети, Серафима, ты говоришь, — маленькие, умирающие дети? и он не жалеет умирающих?

— Да, но есть которые, как и та, с чулком, старушка, живут и не умирают. О! Я их видела в таком подвале; угол — едва повернуться. На тюфяке, на досках, за лоскутом ветхой простыни, спит после тяжелой работы мать, у груди — новорожденный, красивый, как и ты, натерпевшаяся крошка, и тоже девочка, невероятно худая от голода, а в ногах... лет трех мальчик... Боже! многих видела я, но такого никогда... Мальчик — калека, без ног, без рук, то есть вместо них какие-то плетки, как веточки, а голова, с водяною в мозгу, большая, с кроткими, будто вечно плачущими, глазами. Неизлечимо больное дитя осуждено постоянно сидеть в том углу, в той темноте; сидит, и все его движение, вся жизнь — качание с боку на бок его худенького тела и его большой больной головы... И сколько таких! Другим детям — весна, цветы, воздух, солнце, этим — только душные, сырые подвалы; прочим детям

Святки, рождественские и крещенские вечера, этим — вечное страдание и вечная тьма... Этот каменный, красивый человек не женится из себялюбия и чтоб не иметь детей, которых не любит...

— Но если ему все сказать, если попросить этого богача, — прервал со слезами голос девочки, — он смягчится, поможет бедным калекам-детям! Его теперь нет дома... Пойдем к нему, когда он приедет.

— Поможет? — сурово и властно возразил голос старшей. — Нет, такой не смягчится! Он недавно, быть может, и в шутку, но подумал и сказал своему секретарю на докладе о подобных калеках: эх, милый мой, таким детям нужны не новые койки, их не вылечат: им лучшее лекарство — стрихнин или цианистый кали...

— Что это?

— Сильный яд... Не расцвели его лилии и не расцветут: для них нужно иное солнце, иная теплота... Его сердце — могила, лед...

Набоб еще более вознегодовал при этих словах. «Что же это? кто так шпионит, следит за мной? Это не воры, не грабители, хуже... это убийцы моей чести, славы».

И он подвинулся, тихо развел ветви и остолбенел. Месяц поднялся выше, светил ярко.

В его лучах, на тропинке у озера, обрисовались лет шестнадцати, стройная, невиданной красоты девушка с светлыми распущенными косами, а рядом с нею кудрявая, черноволосая, лет семи девочка; и обе в белом и схожие друг на друга, как сестры.

Набоб миновал кусты, вышел на поляну; девушек у озера уже не было. Он бросился к калитке в конце сада: она была заперта. Он быстро обошел весь сад, заглядывал под деревья и кусты — сад был пуст. Были позваны дворецкий, огородник и привратник: все клялись, что никого не видели и в сад не впускали. Замки были заперты и цепные собаки спущены, но мол-

чали. Набоб отослал слуг, упал на постель и долго не мог сомкнуть глаз. Месяц наискось светил в широкие окна его кабинета, на бронзы, ковры, зеркала, на портреты великих дельцов мира, коим он поклонялся, и на газеты, где его самого так хвалили и славили.

— Эти девушки, очевидно, здешние, свои... с ближней станции, — мыслил он, — дочери смотрителя или телеграфиста; там из зависти сплетничают на мой счет между собой и горожанами. Мало ли чего не плетут... Но такое знание не только дел, чуть не мыслей! О! я выведаю, разузнаю, найду и пристыжу болтунью... А какая она красавица! что за голос, чисто ангельский, а сердце...» И успокоенное воображение стало рисовать Набобу его новый подвиг. Он мысленно бросил золотом, все разузнал и нашел девушку Серафиму. Это, подсказывали ему мысли, была старшая дочь бедного стрелочника, отставного гвардейского солдата, крестница и воспитанница знатной княгини, навещавшая отца в праздники; Набоб вспомнил, что в тот день был действительно праздник. Садовник, сослуживец стрелочника, рассказал девушкам о лилиях и, не ожидая в тот день хозяина, так как лилиям не приходила еще пора цвести, дал им ключ от железной калитки. Прочие слуги, очевидно от страха, скрыли проступок товарища. Набоб их благодарит. Он навещает в новый праздник отца девушек, видит и ее и решает дело невиданное и неслыханное: такой умной, красивой и доброй девушке он предлагает свое сердце и руку.

Набоб очнулся. Чудный сон улетел, а из глубины померкшей комнаты на него смотрит то кроткое личико чистенькой богомольной старушки, вяжущей в девяносто лет внуку чулок перед неугасимую, как ее тихая жизнь, бедною лампадкой; то худые плечи и большая голова безнадежно больного, двигавшегося с боку на бок, жалкого калеки. Еще длилась ночь. Все погру-

жалось в сон и тишину. В кабинете Набоба раздался резкий, несколько раз повторенный звонок телефона. На него ответил звонок из городской квартиры. Был разбужен дежурный в конторе, затем поднят на ноги и позван к телефону секретарь.

— Сколько келий в нашей богадельне? — спросил Набоб по телефону.

— Пятьдесят.

— А сколько кандидаток?

— Не понимаю-с... чьих? по чьей рекомендации?

— Никаких рекомендаций... Сколько желающих, нуждающихся? Есть у вас список?

— Но теперь, извините, три часа ночи...

— Не отойду от телефона... справку сию секунду.

Молчание. Через три минуты ответ:

— Заявлено сверх устава сто двадцать прошений.

— Сто двадцать беспомощных старух?

— Так точно. Но не при всех бумагах — нужны свидетельства врачей.

— Вздор. Завтра к моему возврату приготовить смету и чек на открытие новых полутораэта помещений, с полным содержанием.

— Но это потребует нового здания и расхода чуть не в двести тысяч.

— Не ваше дело, хоть полмиллиона. Чтоб все бумаги были готовы.

Перед рассветом опять звонок. Секретарь, писавший в конторе, снова у телефона.

— Сколько коек в детском приюте?

— В каком?

— Во всех, где служу.

— Сто семьдесят.

— На сколько прошений отказано?

— Извините, пятый час... но я сию минуту...

Прошло четверть часа. Набоб нетерпеливо, громко звонит.

— Трудно определить, — отвечает секретарь, — я считаю, считаю... нет числа...

— Готовьте новую бумагу. Позвать утром архитектора и подрядчиков и составить смету на пять новых приютов.

— На пять? По сколько коек?

— По сто, на пятьсот детей.

— Но это потребует... здания... несколько зданий... и постоянного большого расхода...

— Не ваше дело... я подпишу в виде аванса чек на миллион.

Секретарь в почтительном ужасе молчит.

— Еще не все, — говорит Набоб, — позовите нотариуса, изготовьте дарственную. Я уступаю эту свою дачу, где теперь нахожусь, под пристанище для неизлечимо больных детей.

— Извините, — робко произносит секретарь, — вы тревожитесь, не спите, такое позднее время. Все ли у вас благополучно?.. и как ваше здоровье?

— Не беспокойтесь, милый, здесь у меня все благополучно! О, я совершенно здоров и буду назад с первым поездом.

Набоб, сделав эти распоряжения, прилег и крепко заснул. Спал он недолго, но сладко... Начинаясь румяная заря, когда он очнулся, увидел, что не раздет, все припомнил и бросился на балкон.

Чудный утренний воздух был полон необычного чарующего благоухания. Это благоухание волшебною широкою волной лилось по всему саду. Набоб понял, что под новым солнцем, при новой, его собственной, сердечной теплоте у озера расцвели его заморские лилии... Он спустился с пригорка и обмер.

У куста благоухавших лилий стояли две вечерние гости, старшая и младшая. Младшей удалось увидеть и понюхать так ее манящий чудный цветок. Набоб протянул руки от счастья и вскрикнул. Гости его не видели.

Над их плечами развернулись голубые, с розовыми каймами крылья, и обе гостьи эти, Божьи дети, как понял Набоб, зашумев в воздухе, стройно и властно поднялись над озером, садом, холмами и исчезли в синем небе.

IX

СЧАСТЛИВЫЙ МЕРТВЕЦ

Это было лет тридцать назад. В одной из наших южных губерний проживал весьма даровитый, ретивый и всеми любимый исправник. Тогда исправники служили по выборам из местных дворян-помещиков. Назовем его Подкованцев. Он был из бедных, мелкопоместных дворян, поместья не имел, а владел небольшим домом и огородом на краю уездного города, где жил. Его жена, болезненная кроткая женщина, расстроила вконец свое здоровье, ухаживая за кучею детей. Муж и жена мечтали об одном: купить с аукциона родовое небольшое имение, которое вот-вот должно было продаваться с публичных торгов за долг в казну родных исправника. Жена после смерти бабки получила небольшой капитал, но его далеко не хватало на выкуп этого имения. Подкованцевы ожидали наступления срока торгов и придумывали, откуда бы взять недостающую сумму для покупки имения; оно было еще южнее, в лесистой местности, у низовьев Днепра. Исправник, как все это знали, взятков не брал. Откупщик, имевший к нему множество дел, решил подъехать без ведома мужа с предложением крупной благодарности его жене. В том году в губернии, о которой идет речь, появилась смелая и ловко организованная шайка разбойников. В губернском правлении считали ее в количестве до восьмидесяти человек и не знали, что делать, чтобы ее переловить. Были сведе-

ния, что шайка делится на особые кучки; что ее члены в обычное время мирно проживают в разных местах губернии в виде крестьян, шинкарей, мелких торговцев, псаломщиков, сгонщиков скота и нищих и собираются в ватаги, когда задумывается и решается какое-либо особенно выгодное и ловкое предприятие. Главою всей шайки этих грабителей, конокрадов и разбойников больших и проселочных дорог считался некий Березовский. Кто он был? Никто этого не знал и в действительности его не видел. След шайки, по некоторым особенно смелым грабежам, со взломом и всякими насилиями, показался в уезде, где служил Подкованцев. Исправник думал-думал и, глядя на жену, незадолго перед тем как-то особенно повеселевшую, сказал ей:

— Еду к губернатору, попрошу особых полномочий, выговорю себе вперед, на случай успеха, хорошее вознаграждение и изловлю Березовского; если казна расщедрится, да и купцы, не раз ограбленные, сложатся, то заполучим добрый куш... пожалуй, купим и имение.

— Да, не мешает, — ответила жена, — еще не хватает... на торгах могут наддать цену...

Сказано — сделано. Подкованцев съездил к начальству. Его знали за искусного и умного деятеля; дали ему нужные полномочия и различные указания, и он стал работать. Были пойманы человек пять-шесть из шайки, потом еще двое. Один из пойманных выдал главную нить. Были указаны притоны, места сборов. Исправник обомлел от восторга. В ближайшую ночь — это было летом — он верстах в двадцати надеялся наконец живьем захватить самого Березовского... Дело шло о выдаче сообщником начальника шайки на любовном свидании у какой-то вдовы-казачки. Едва стемнело, исправник уложил в карманы по пистолету, наскоро простился с женою, сказав: «Ну, те-

перь жди с победой! со щитом или на щите! имение наше!» — и укатил. Прошел час, другой; уездный городишко стих; предместье, где был двор исправника, погрузилось в сон. Подкованцева уложила детей, отпустила прислугу ужинать и, замирая от волнения, села с картами раскладывать пасьянс. Прислуга долго не возвращалась. «Как барина нет, вечно перепьются — засидятся в кухне!» — подумала она, прислушиваясь к запоздалым подводам, еще тянувшимся со скрипом из-под моста в город мимо их ворот. Она даже подошла к окну и, приложив лицо к оконной раме, взглянула в темноту. Сторож был, очевидно, в исправности, ворота на запоре. Вдруг ей послышался стук в ворота. Неужели подъехал уже муж? как она не слышала колокольчика? Опять легкий стук. Видно, сторож заснул. Подкованцева бросилась в девичью, хотела оттуда крикнуть на кухню — в зале слышались шаги. Исправничиха стремглав кинулась туда. Перед нею стояли два незнакомых мужчины. Извиняясь за поздний заезд, они представились хозяйке. Это были два смиренные помещика соседнего уезда. По их словам, они имели экстренное дело к исправнику.

— Мужа нет, — сказала хозяйка.

— Мы знаем, — ответили гости, — но дело спешное; не позволите ли подождать?

Исправничиха подумала: «Лучше пусть посторонние перебудут здесь, чем так тревожиться одной», — и пригласила приезжих садиться. Явилась между тем служанка. Она подала чай. «Нализалась! — подумала, глядя на ее пошатывание, хозяйка. — Ну, после поговорим!» Вечер кончился в разговорах. Беседовали о местных и столичных новостях. Один из гостей уходил осведомляться о своем экипаже, о лошадях. Еще поговорили. Был уже второй час ночи. У Подкованцевой давно слипались глаза, и она украдкой позевыва-

ла. «Не хотите ли у нас переночевать?» — сказала она, поглядывая, куда опять запропастилась горничная? Гости встали, прощаясь. Из передней выглянуло третье лицо — слуга гостей. «Видите ли, сударыня, — сказал один из гостей, увидев своего слугу, — вы не беспокойтесь, не тревожьтесь, — продолжал он, подойдя к руке хозяйки, — благодарим за внимание, но оставаться у вас на ночлег мы не можем, переночуем в другом месте... а дело-то вот в чем... Я — *Березовский*...»

Можете себе представить изумление и испуг Подкованцевой. Барыня чуть не упала в обморок. Ее поддерживали. «Успокойтесь, — сказал ей Березовский, — жизнь ваша и вашей семьи в безопасности; вы исполните только беспрекословно наше желание. Ваша дворня опоена сонными каплями; не кричите, не поднимайте шума... Вот вам свеча, держите ее и ведите нас в вашу спальню. Там, под кроватью, у вас шкатулка, а в шкатулке четырнадцать тысяч; десять из них — ваше наследство от бабки, а четыре... кажется, вам их дал откупщик Себыкин, в надежде через вас уговорить вашего мужа погасить дело о насильственной смерти еврея-шинкаря. Вы могли бы смело взять эти деньги; еврея... по ошибке... придушил не Себыкин, а мы... за один донос. Пожалуйте, идем... да держите свечу; она падает у вас...» Подкованцева, чуть жива от ужаса, провела грабителей в спальню, где мирно почивали ее дети, и выдала заветную шкатулку. Березовский весьма вежливо поблагодарил, еще раз попросил не тревожиться попусту, беречь себя, и ночные гости, выехав со двора, умчались. Подкованцева, рыдая, упала перед киотом. Грабители проскакали верст семь, своротили с большой дороги в овраг, проехали оврагом версты две и направились к уединенной корчме, стоявшей на перекрестке двух проселков, у леса. Корчмарь-еврей впустил их в чистую жилую избу.

Грабители зажгли свечу, заперли и стали считать и делить деньги. Вдруг на большой дороге раздался залихватистый, знакомый им звон колокольчика... Березовский прислушался и мигом погасил огонь. Прошло несколько минут. Колокольчик стал затихать; путники по большой дороге, очевидно, проехали далее. Но едва грабители хотели вновь зажечь свечу и кончить дележ, у корчмы раздался стук колес и храп остановленных лошадей. Долго стучались приезжие. Шинкарь прикинулся спящим, наконец отпер ворота. В избу вошел высокий, молодцеватый Подкованцев. Подъехав с подвязанным колокольчиком, он вынул спички и зажег стоявшую на столе свечу. Гости также притворились спящими. На вопрос: кто это? — струсивший еврей ответил:

— Проезжие помещики.

— Знаешь их?

— Почем знать!

— Буди их.

Еврей стал толкать гостей. Те встали. Начался спрос: кто вы, откуда, куда едете? Те вломились в амбицию, жалуясь на беспокойство и уверяя, что спали давно.

— А зачем же вы вдруг погасили свечу, едва слышали мой колокольчик? Я исправник!

— Знаем, — сказали гости, — что же вам нужно?

— Ваши паспорта, господа.

Один из гостей вынул дворянское свидетельство. «Здесь прописано имя и фамилия помещика NN, — произнес исправник. — А я его лично знаю, вы самозванец, и потому, господа, шутики в сторону, прямо отвечайте, кто вы? Изба окружена сотскими; оставь нас, уйди!» — обратился Подкованцев к корчмарю. Тот вышел. Исправник сказал: «Отвечайте, кто из вас Березовский? признавайтесь, вам спасения нет». Он вынул пистолеты и стал у дверей. Оба грабителя были

щуплые, худощавые, невзрачные на вид. Подкованцев мог кулаком положить обоих на месте. Березовский взглянул на товарища, назвал себя и стал торговаться. Сошлись на четырех тысячах — сумма, которой именно не доставало исправнику до восемнадцати тысяч на выкуп родовой деревеньки. Получив и со вздохом пересчитав деньги, он отпустил мнимых помещиков и, когда те уехали, сказал сотским: «Ну, ребята, можете расходиться, и здесь не удалось» — и направился домой. Он радостно объявил жене:

— Поздравь, сейчас накрыл Березовского, вот и деньги, теперь наше дело в шляпе.

— Как? — вскрикнула жена. — Так и шкатулку отбил?

— Какую? Никакой шкатулки у них не было!

Та рассказала, в чем дело. Едва Подкованцев соznался ей, какую дурацкую штуку с ним сыграл ловкий разбойник, исправничиха вскрикнула не своим голосом и грохнулась на пол... Муж бросился приводить ее в чувство; она была недвижима. Позвали уездного врача — горького пьяницу; тот повозился над нею, давал ей нюхать спирт, тер ей руки и ноги, подносил свечу к глазам, зеркало к губам и наконец объявил, что она умерла, вероятно, от разрыва сердца, которым, по его мнению, она страдала. Подкованцеву обмыли, одели, положили на стол, и растерянный, измученный муж подумал: «Ну, мертвой не оживить; надо думать о живых, о детях!» — велел запрягать лучшую свою тройку и снова бросился искать Березовского. Один из сотских, бывших у корчмы, догадался, что оттуда мог быть выпущен, пожалуй, по ошибке, сам Березовский, решил его выследить и, загнав лошадь, возвратился к обеду и объявил, что след заподозренного им Березовского направился к местечку А**, лежавшему невдалеке, у Днепра. Туда и понесся рассвирепевший исправник. Подкованцеву между тем вынесли

в церковь на соседнее кладбище. Забулдыга псаломщик, дьяконский сын, изгнанный за пьянство и буйство из бурсы, был позван читать над покойницею Псалтырь. Не стану томить вас подробностями... Подкованцева оказалась в летаргическом обмороке — все слышала, чувствовала, но не могла очнуться, не могла встать. Ночью в церкви, среди чтения Псалтыря, ей померещился стук в церковное окно. Чтец остановился, поднял оконницу.

— Что тебе? — спросил он.

— Пан придет ранком за казною; где ты ее зарыл?

— Кому нужно? — спросил чтец.

— Рыжего прислали: он и отроет.

— А я?

— Велено тебе читать, а он будто за картошкой на огород... говори же скорее.

— Под вербою, в грядке луку зарыл, — ответил псаломщик.

— Под какую?

— У самой речки... Да ты скажи Рыжему, чтоб меня переменял; есть хочется и выпить бы.

— Ну, скажу; ты, однако, не уходи, коли не пришлют другого.

Прошел час. Псаломщик, очевидно, не вынес голода и жажды, погасил свечу и, ворча сквозь зубы, ушел и замкнул за собою церковную дверь. Подкованцева вылезла из гроба и, не помня себя от волнения, бросилась к городу. На дороге ее обогнал какой-то поселянин, на повозке, с мешками. Она его окликнула и доехала с ним к приятельнице, подруге по пансиону, жене аптекаря. Там она через силу рассказала второпях, в чем дело. Аптекарьша позвала мужа. Подкованцева была едва жива и все твердила: «Скорее, скорее, берите заступ, молю вас, ройте!» Аптекарь, честный сердобольный немец, дал ей успокоительных капель,

уложил ее в постель и поспешил, по ее указанию, на огород дьякона, где под указанной вербой при помощи полицейских и была найдена в целости шкатулка Подкованцевой. Березовский, как после оказалось, выпущенный из корчмы, где с товарищем начал было делить деньги, решился впредь, до более спокойного часа, спрятать шкатулку в самом городе, через псаломщика, состоявшего в шайке грабителей в качестве укрывателя награбленных вещей, а Рыжий, через которого он с пути прислал новую отмену своего приказа, был городской лавочник, исполнявший при шайке обязанность рассыльного и вестового. Шкатулку аптекарь успел выкопать ранее, чем Рыжий и его пособники, ждавшие, пока стихнет возня во дворе дьякона, успели ее перенести в иное место. В ту же ночь были арестованы: псаломщик — в кабаке, Рыжий — в квартире при своей лавочке, а Березовский — на другой день, в местечке А**. Подкованцев убедился, что тарантас грабителей не въезжал в местечко, но что туда въехал на возу с арбузами и дынями человек, похожий на Березовского, в крестьянской свите и поярковой шляпе, очевидно успев уже где-то сбыть и свой тарантас, и лошадей, и одежду помещика. «Где тут хорошая шинкарка?» — лихо спросил исправник, тоже переодетый, первого встречного обывателя местечка. Тот указал ему дальний двор. Оставя лошадей у околицы и зная сибаритские обычаи грабителя, Подкованцев вошел молодцом в шинок, пошутил с смазливой румяною бабой-шинкаркой, потребовал корчик перцовки, выпил его, бросил на прилавок серебряный талер и, утирая усы, козырем посмотрел на хозяйку. «Ну, ночка была! — сказал он. — Заработали! а где сват?» Шинкарка налила еще корчик водки. «Где сват? пока вернется, пеки яичницу, жарь гуся! — произнес гость. — Надо справить магарычи...» Шинкарка молча выглянула в окно на Днепр. «Знаю, купает-

ся, шельма — чистун!» — сказал гость и, бросив другой талер на прилавок, вышел на реку. Там он тотчас узнал в воде, среди пархатых местных купальщиков, серые наигранные глаза и острую мордочку Березовского. Последний также в подошедшем рослом запыленном мещанине узнал своего врага — исправника и, будто продолжая купаться, пока его преследователь раздевался, шибко поплыл на другой бок Днепра, в кусты... Но к берегу от околицы уже подъезжала тройка исправника с понатыми. Подкованцев поймал Березовского в воде за ногу, когда тот уже был готов ускользнуть в зеленые безбрежные плавни за рекой.

К зиме Подкованцев купил задуманную деревню. Поймав Березовского, он все рассказал губернатору; деньги, поднесенные его жене, как потом уверяли, возвратил через начальство откупщику, а купцы в благодарность за избавление от Березовского сложились и предложили Подкованцеву под вексель недостающие для покупки деньги. Они по векселю, разумеется, не думали с него требовать долга. То были, говорят, иные времена и нравы; во всяком случае — фабула о бескорыстном полицейском чине в то время была возможна... Перед выходом в отставку, когда имение куплено уже было и семья Подкованцева там проживала, он сам навестил Березовского в губернской тюрьме. Свидание происходило при смотрителе острога.

— Скажи, братец, как это ты пронюхал, что я уехал тебя искать, — спросил Подкованцев разбойника, — а главное, как ты узнал, что у меня в шкатулке такая-то именно сумма?

— Никто сам по себе ничего! — ответил со вздохом Березовский, оправляя на себе кандалы. — Все в пособниках!

— Да кто же тебе помогал у меня-то? в моем-то исправницком доме?

— Бабы, ваше благородие, все они; я перед тем две ночи ночевал у вас же, во дворе, одну в саду, а другую в такой это коморочке, около детской.

— И нож был с тобою? — спросил исправник.

— А уже как же это нам, мужчинам, без бритвы-то? — усмехнулся недавний душегуб.

Х

РАЗБОЙНИК ГАРКУША

(Из украинских легенд)

Слава Гаркуши, по малорусским преданиям, началась с 1777 года. Этот год остался надолго памятен малороссам. В продолжение десяти лет, начиная с этого года, Гаркуша был страшилищем Малороссии. Предание так рисует портрет его. Это был широкоплечий, мускулистый, среднего роста мужчина, лицо загорелое, грубое, глаза черные, волосы на голове и на усах такие же. Когда он был чем-нибудь рассержен, лицо его становилось багровым, глаза бросали молнии, все мускулы были в движении. Гаркуша, по преданиям, никого не умерщвлял, разве в крайности. Один из старожилов передает следующий рассказ о смерти Гаркуши, слышанный им от дряхлого бандуриста, лично знавшего Гаркушу. Однажды преследовали его где-то по Днепру. Видя невозможность спастись от преследователей сухим путем, он решается почти на явную смерть: отрубает толстую веревку, которою была привязана так называемая душегубка, садится в нее и плывет. Другой лодки не было. Преследовавшие послали отыскать ее поблизости на реке. Между тем беглец счастливо переплывает большую половину Днепра. Уже он близко подле берега. Вдруг подул сильный ветер; Гаркуша покачнулся и — исчез в си-

них волнах днепровских. Старожил приводит следующие анекдоты об этом разбойнике. Заседатель —ского земского суда ехал верхом в город из одной деревни, владетель которой праздновал тогда свои именины и потому звал к себе в гости всех знатных лиц околотка. Была ночь, и ночь темная. Тучи покрывали все небо. Этому страннику оставалось не более трех верст. Он своротил вправо с большой дороги и поехал по маленькой тропинке, ведущей через лес, желая этим сократить путь. Уж он благополучно пересек лес, уж он проезжал городские луга; в это самое время навстречу ему попадают два человека, одетые в русское платье. Желая выказать себя им, а может быть, и просто по невольному побуждению, родившемуся в голове его от излишнего употребления крепких напитков, он именем земской полиции спросил их: кто они? Ему отвечали: хйба не бачите?

— Покажите мне ваши виды, мне, заседателю нижнего земского суда сего уезда! — закричал он.

— Яких вам треба?

— Да тех, которые вы имеете.

— Стривай, зараз!

Один из них свистнул, в минуту явился человек десять гайдамаков. «Берите, лишень, его та ведите в ту балку», — сказал Гаркуша. Заседатель был приведен в назначенное место. Там совершена была над ним без жалости известного рода экзекуция. Потом Гаркуша давал ему различного рода наставления и, отходя от него, прибавил: «Та гляди мини, не смотри, куды ми пидем, а не то очей в тебе не стане!» Немудрено, что —ская земская полиция долго помнила этот случай. Предание говорит, что наставления Гаркуши переходили от одного заседателя к другому по наследству. Однажды Гаркуша с двумя молодцами из своей ватаги приехал в казенное селение к одной вдове и

приказал подать себе поужинать. Она ему говорила, что у нее ничего нет:

— Заседатель був тут позавчора, та все, що було, описав та позабрав за недоимку, а я вже ему в прошлую неділю заплатила пивторы копы.

— Жалко, що я не могу его теперычка промуштроваты. Ачь, який бисив сыну! та вин вже не минеть моих рук!..

Старушка приготовила своим гостям ужин. Гаркуша за радушный прием оставил вдове в приданое трем ее дочерям, может быть и не последним красавицам в Малороссии, — трудно поверить — тысячу рублей. «Кажи, — прибавил Гаркуша, прощаясь со старухой, — кажи усякому, що си гроши дав тобі Гаркуша; а хто зосмильця у тебе их отняти, то тому я, не на живит, а на смерть, вси руки повывертаю». Гаркуша любил разъезжать по городам и селениям в генеральском мундире. В таком случае за ним всегда следовала большая свита. Однажды он приехал в таком виде в Конотоп, уездный город Черниговской губернии, и прямо на двор к городничему.

Известный библиограф и исследователь Малороссии А. М. Лазаревский, на мой вопрос о Гаркуше, в 1854 году сообщил мне следующее.

Гаркуша большею частью действовал в пределах настоящей Черниговской губернии.

Фамилия городничего, о котором упоминается в статье «Украинского альманаха», — Базилевич. Гаркуша, между прочим, велел одному из своих хлопцев дать несколько ударов нагайкою жене Базилевича за то, что она не соблюдала постов по средам и пятницам.

В одну погоню за шайкою Гаркуши, на Гнилище, около Конотопа, конотопцы догнали одного разбойника, но не решились живым взять, а убили его из ру-

жья, и убил именно казак Зимивец из ружья, которое было заряжено серебряным гудзиком (пуговицею), которую нарочно для этого конотопский протопоп отрезал от ризы. Простые пули, по мнению народа, не брали разбойников Гаркушиных.

Будучи уже разбойником, Гаркуша женился в Роменском уезде на помещицкой девке, и здесь-то исправник едва не схватил его.

Пойман же Гаркуша в г. Ромнах «бублейницею» (женщиною, торгующею бубликами). Это происходило таким образом. Гаркуша покупал целую коробку бубликов; торговка, узнав его, схитрила: под предлогом, что у нее нет сдачи, она пригласила его войти к себе во двор, между тем оповестила народ и полицию, и Гаркуша был схвачен.

В допросе Гаркуша показал себя выходцем из Черноморья.

Все дело о его разбоях хранится в Роменском уездном суде. Впрочем, часть этого дела, именно о нападении на дом Базилевича, находится в Конотопском уездном суде.

Большую частью Гаркуша жил в м. Смелом, где его не задерживали, за что он щедрою рукою сыпал деньги.

Сохранилось предание, что Гаркуша строптивым помещикам шил красные сапоги, то есть приказывал сдирать с ног кожу. Но вряд ли это справедливо, Гаркуша только в нужде употреблял насилие.

В Харьковской губернии запорожцы часто пошаливали¹, грабили помещиков и противляющихся тиранили и даже умерщвляли; но все это проказили так называемые гайдамаки, харцизы, являвшиеся в разных местах и потом скрывшиеся оттуда. Потом яви-

¹ «Современник». 1841 г. XXV т., стр. 1–89, XXVI, стр. 1–86, статья Г. Ф. Квитки-Основьяненко «Предание о Гаркуше».

лась сильная партия, в короткое время составившаяся и нахлынувшая откуда-то в Харьковскую губернию. Обращаясь в тамошних местах, она наводила ужас на всех помещиков. Случалось так, что разбойники наезжали к иному помещику, забирали все, что могли, и уезжали, не ударив даже никого. Под заграбленные вещи брали у помещика фуры и волов, а после нескольких дней, в одно утро, все фуры и волаы оказывались близ помещичьего двора, вместе с деньгами и запискою, в которой говорилось, что уплачивается за столько-то дней работы волами.

В одном селении жили два помещика. К одному из них, о котором говорили очень дурно, нагрянули разбойники. Управившись там по своему желанию, возвращались мимо другого. Увидев его среди двора, с небольшим числом людей, приготовившегося к обороне, разбойники говорили ему: «Не бойся ничего. Ты добрый пан. Мы тебя не тронем; иди в дом и успокой свою панью и деточек». И в самом деле, ехали мимо, не сделав ему вреда, тогда как соседа его обирали дочиста и сверх того производили ему чувствительное наставление... Только с открытием наместничеств введен здесь порядок; но благодетельные меры правительства не всеми понимались, да и сами исполнители не по всем частям были еще готовы. А потому действия по некоторым предметам шли слабо, как это нередко случается при введении нового устройства. Притом же суеверный простой народ распускал ужасные нелепости об этой шайке. Надобно сказать, что Гаркуша именно и явился перед самым преобразованием черниговского наместничества. Собрав небольшую шайку, он ходил с нею открыто, проповедывал какие-то странные идеи. Его очень скоро схватили и упрятали в Сибирь. Позднее действовавшая здесь шайка распускала слухи, будто бы этот самый Гаркуша вырвался из Сибири и атаманствовал над ними.

В самом деле, они при действиях своих всегда кричали: «Батько Гаркуша так приказал». Власти собирали толпы мужиков, вооружали их и намеревались выступить против разбойников. Тут шайка совершенно исчезала, а проявлялась очень скоро в другом уезде, подалее от прежних действий. Надобно, однако, заметить, не слышно, чтобы эти разбойники кого убивали, тиранили или поджигали где; они только грабили, а у иного и оставляли даже кое-что для прожития. Случалось, что иная шайка как-то необыкновенно долго гостила в ином уезде; о местопребывании ее при всех усиленных стараниях не получалось сведений. Казалось, ее нет нигде, а является везде. Может быть, и выдумывали, но только уверяли, что атаман их, называющийся Гаркушей, являлся в разных видах. Вечером при холодной, ненастной погоде случайно к кому-либо из помещиков въедет, бывало, военный чиновник, купец с товарами или важный гражданский чиновник и просит укрыть его на ночь в предостережение от разбойников. Ему дают убежище, а ночью, когда в доме все беспечно спали, странник впускал товарищей и в благодарность за гостеприимство грабил добродушных хозяев. Рассказывают, что по какому-то случаю был схвачен один из разбойнической шайки. Говорят, что будто сам Гаркуша поддался с умыслом, чтобы рассмотреть действия городничихи. Какое бы ему, казалось, до того дело? Как ни идет управление, ему нет ни пользы, ни вреда, но так говорят. Верно только то, что городничиха приказала схваченного разбойника содержать под строгим присмотром. Не представляя его к суду, морила голодом, выпрашивала ни о чем более, как только о месте, где хранятся награбленные им сокровища. Уже она располагала приступить к пытке, как арестант ушел.

— Мы его берегли до сего часу крепко, — говорили потом сторожа, — не давали ему и есть; а ему кто-то со стороны приносил всего. Мы никак не додума-

лись, кто ему это приносил? А не раз заставляли, что он доедает поросятину, да еще и горилку пьет. Мы станем его бранить и приказывать, чтобы он ничего не ел, а он в ответ песни поет. Вот так и было до сего часа. Как приказали нам вести его, мы и хотели связать ему руки, а он и говорит: «На что вы свяжете меня?» А мы говорим: «Чтобы ты, часом, не ушел». А он говорит: «Я и так не уйду». А мы спрашиваем: «Ио (неужто)?» А он говорит: «Ей-богу». А мы говорим: «А ну, побожись больше». Он и побожился, и таки крепко. Вот мы и повели его. Только что вышли на улицу, смотрим — он не то думает: поворотил в другую сторону. Мы ему говорим: «Иди за нами». А он поет, рукою махнул и идет своею дорогою. Мы ему кричим: «Брехун! сбрехал; побожился, а сам уходишь». А он все-таки идет и не оглядывается. Глядим, уже далеченько отошел; мы стоим и советуемся: что нам делать? А вот этот Клишко и говорит: «Побежим да поймает его». А мы говорим: «Побежим». Глядим, замечаем, а он все далее, все далее... Как же совсем скрылся, тут мы принялись ругать его.

Вскоре затем доставлено к городничему письмо от Гаркуши, коим он благодарит жену его за хлеб-соль и угощение, оказанное товарищу его, и что он вскоре посетит его сам, с семьею своею, и лично покажет свое расположение к ней. «Причем, — так писал он, и городничий имел дух показывать это письмо многим, и Квитке также, — покажу, братику, и тебе любовь свою за твое мудрое управление городом».

Гаркуша, по словам Квитки-Основьяненка, никого не убивал и не губил. Он и не грабил «благонажитого». Одним словом, Гаркуша ни одному человеку безвинно не причинил даже испуга, не только зла. Вся цель Гаркуши была — исправить людей и истребить злоупотребления. По удостоверению Квитки, Гаркуша обучался в Киевской академии, и учился хорошо. Он в классе философии был из отличных: об этом мож-

но удостовериться из академических списков. На диспутах он побеждал своих противников. И с такими сведениями, познаниями и понятиями не верилось, чтобы он вдавался в разбойничество, душегубство и, еще более, подлый грабеж для своей пользы. Современники Гаркуши говорили о нем, будто бы он, будучи одарен чистым, здравым рассудком, видя вещи, как они есть, сострадая к угнетаемым, не видя благородного употребления даров, случайно полученных людьми, сперва негодовал, скорбел и почувствовал в себе призвание пресечь зло, искоренить злоупотребления, дать способы добродетельному действовать по чувствам своим, а у сильного отнять возможность угнетать слабого. Он принялся действовать, но по молодости и неопытности — без обдуманного плана. Его не поняли, схватили, судили и сослали было на житье в Сибирь. Если бы он мог быть там полезен, он бы остался; но, видя, что ему там нечего делать, он нашел средство возвратиться сюда и начал действовать для пользы общей. Гаркуша любил повторять латинскую пословицу: *homini, quem nescis, nequaquam male dicendum est* (не знаяши человека, не должно говорить о нем худо). Он был, по словам Квитки, «лет сорока с небольшим, лицо имел смуглое, загорелое, запекшееся на солнечном жару; волосы на голове подстриженные, по обыкновению тогдашних малороссиян; усы — широкие, густые, черные; глаза — быстро глядящие и пронизательные. Одевался он в малороссийское платье, скромное, то есть темного сукна и без блестящих выкладок; рукава верхней черкески не закидывал назад, но надевал на руки. Один только обыкновенный нож на цепочке за поясом, и никакого больше оружия; ни сабли при боку, ни пистолетов за поясом, по обычаю дорожных, — ничего этого не было». По словам Квитки, история с приездом Гаркуши к городничему происходила таким образом. В передней слышался

шум: «Приехали, приехали!» Колокольчики гремят у крыльца, ямщики кричат на усталых лошадей, слуги из дома выходят со свечами на крыльцо; за ними поспешает городничий, застегивается, торопится, прицепляет шпагу, служанка догоняет его с треугольной шляпою, он схватывает ее и, вытянувшись, стоит на крыльце, держа в руках рапорт. Карета венской работы, с чемоданами и ящиками, останавливается у крыльца. Восемь почтовых лошадей, измученные, все в мыле, шатаются от усталости. Человек весь запыленный, подобия в лице не видно, быстро вскакивает с козел, ловко отпирает дверцы у кареты и откидывает подножку. Из кареты выскакивает бывший уже офицер и становится принимать генерала. Другой слуга, также вершков десяти, как и первый, встает лениво с запяток (видно, спал всю дорогу), протирает глаза, весь в пыли, зевает и с удивлением не проснувшегося рассматривает всех и все, разбирая, куда они приехали? Судья вполголоса закричал городничему: «К подножке! идите к подножке!.. Так должно встретить...» Из кареты показался генерал: на пышном плаще блестящая звезда; на голове, сверх колпака, шелковая стеганая шапочка; щека подвязана белым платком. Лицо чистое, белое, румяное; заметны морщины, как у человека лет за шестьдесят. Из-под колпака висели развитые пукли седых волос. Он вылезал медленно, потому что одна нога была окутана и обвязана; он с трудом двигал ею.

Разговор не прерывался. Генерал в подробности рассказывал о военных действиях в недавно конченную войну с турками, чертил на столе планы сражений, штурмов; адъютант без запинки подсказывал имена храбрейших штаб- и обер-офицеров, коих генерал не мог же всех припомнить. Городничий слушал, городничиха слушала, и оба удивлялись, не понимая дела ни на волос. Разговор коснулся и до Гаркуши. Город-

ничиха тут рассыпалась в рассказах. Что знала, слышала, все высказала генералу и заключила описанием мер, какие она предприняла, чтобы схватить проклятого харциза. Подали ужин. Генерал кушал хорошо. Немного мешала ему больная раненая щека — но ничего. После ужина генерал просил хозяйку успокоиться, а сам расположился с хозяином покурить, «пока до чего дело дойдет». Так примолвил он, снимая платок, коим завязана была его щека. Городничиха вошла в спальню, кликала девок — никто нейдет. Она в девичью — нет ни одной. Она прошла в переднюю, чтобы послать за ними слугу, — ни одного человека нет в передней. Она вышла на крыльцо, звала девок, слуг — никто не отзывается. Рассердилась, воротилась, еще дожидала — нет никого! Что могла, сбросила с себя, села на кровать — никто нейдет... Она прилегла, вздремнула; потом, утомясь чрез весь день, заснула крепко. Генерал продолжал пересказывать разные приключения из жизни своей. Вдруг вступили в комнату четыре человека страшного вида, в казачьих платьях. «Управились со всеми, батьку!» — сказал один из них грубым голосом и малороссийским наречием, обращаясь к генералу. Кончив трубку, Гаркуша с прежним равнодушием встал и сказал: «Пойдем же к пани городничихе. Веди! ты, муж, дорогу должен знать. Хлопцы, хлопцы за мною». И затем прибавил мужу: «Войди один и объяви, что Гаркуша здесь». Городничий, дрожа, вошел в спальню жены и робким голосом насилиу проговорил: «Душечка! Гаркуша здесь!..» Городничиха как ни спала крепко, но это известие и во сне поразило ее. Она мигом вскочила и вскричала: «Здесь? Наконец поймали!» — «Нет, голубочка, черта два меня поймают. Я сам явился. Вот и хорошо, что ты одетая спала, нам меньше забот». Потом взяв ее за руку, сказал: «Сядь, голубочка, подле меня, — и посадил ее. — Пана городничего я задобрил, он не приревнует

вас ко мне. Ну, поговорим же любенько. Узнала ли ты меня, пани городничиха?» Городничиха, дрожа всем телом, отвечала: «У... у... узнала...» Квитка кончает: «Одним словом, Гаркуша увидел, что зло сильно владычествует между людьми, что из блаженной жизни, данной в удел каждому, враги добра, не страшась преследования закона, превратили се в мучительное истязание, услаждаясь стенаниями ближних, забыли мыслить о возмездии, — и вот Гаркуша, одушевленный на истребление зла, исшел на дело. Он не убивает, но, узнав о лихоимстве судей, корыстолюбии их, несправедливом управлении, является, выставляет перед ними пороки, злоупотребления, неправды их, стремится еще навести их на истинный путь убеждениями, увещаниями, угрозами — и грозит воздать некаящимся по делам их. Говорят, Гаркуша — грабитель. Вот с какою целью отнимает он у иного достояние. Услышав о купце, собравшем или, правильнее сказать, содравшем из чего только мог великое богатство и не обращающем его на общую пользу, или проведав о зловерном ростовщике, пользующемся слабостью ближнего и разорившем его непомерными процентами и лихвенными начетами, Гаркуша являлся у таких, отбирал несправедливо ими нажитое и брал к себе, но не для себя. Объезжая сам и имея великое число во всем здешнем крае верных людей, узнавал бедные семейства, худо устроившие дела свои; небольших помещиков и других, впавших в несчастное положение, он снабжал из денег, отнятых у тех, которые не умели из них сделать общепользнего употребления, наставлял, как устроить дела свои, — и, слыша от них благодарность, сам имел душевное наслаждение, видя их, прежде бедных, цветущих состоянием. А сколько Гаркуша истребил, переловил шаек гайдамак, настоящих харцизов, набегавших сюда из вольницы запорожской, разбойничавших во всем крае и разглашавших, что они из шай-

ки Гаркуши! Нет, он, не любя и малейшей неправды, не терпел такого зла и отбивал у настоящих разбойников охоту набегать сюда на промыслы. Одним словом, Гаркуша искоренял зло, преследовал пороки людей. Гаркуша был совершенно окружен военной командою; не привыкших к битве, но все-таки нападавших на него, почти шутя отбивал».

Часть разбойников была убита, прочие все взяты. Когда заковывали Гаркушу и Товпыгу особо, Гаркуша сказал: «Как ни жалка смерть моего Довбни, но завидую ему: он избежал посмеяния от злой городничихи, а мне эта участь предстоит!» — и, скрежеща зубами, тряс цепями в ярости. По снятии допросов Гаркуша был заключен в тюрьму, и караул приставлен уже не из обывателей, а из военной команды, поймавшей его. Когда объявили Гаркуше решительный о нем судебный приговор, он, поклонясь присутствующим, сказал: «Справедливо. При всем учении моем, я ложно понял вещи, а пред законом и в том уже преступник, что принялся действовать самовластно. Участь мою, еще прежде вас, истина нарекла устами юности».

Приложение

БЕС НА ВЕЧЕРНИЦАХ

(Святочный рассказ)

Не так страшен черт, как его малюют.

Поговорка

Дед поставил ружье в угол, уселся на теплой лежанке и стал рассказывать...

— Это было в Изюме, — говорил он, — на Святках. Шел мещанин Явтух Шаповаленко по дальнему переулку, заглядывая во все окна и затрогивая всех прохожих. Шел он уж поздно на заре на вечерницы, то есть посиделки, которые справлялись на десятикопечную складчину молодежи ближней слободки, в лесу, на водяной мельнице, и потому-то он нарядился в пух и в прах. Синие нанковые шаровары, только что купленные на торгу, были туго перетянуты ремнем с висящими на нем гребенкой и коротенькой трубочкой. Концы шаровар были засунуты в высокие, с железными подковами сапоги. Поверх белой рубахи с синим и красным шитием у воротника на плечи молодецки была накинута серая свитка, а на волосы была надвинута высокая, с синим суконным верхом, черная барашковая шапка. В его левом ухе болталась серьга, а из кармана шаровар выглядывал конец желтого с разводами платка. И шел он, предаваясь всяким потехам. То просунет голову в узенькое окошко подслеповатой бабы-вдовы и над самым ее ухом крикнет «а-гу!». То совершенно неожиданно перед домом волостного писаря начнет на руках и ногах вертеться колесом и роняет по пыльной дороге то трубку, то пла-

ток, то целую дорожку пятаков; или погонится за толпою разряженных девок, а те разбегаются от него с визгами и криками, как стая воробьев от налетевшего ястреба... То, наконец, у ворот двух соседей-стариков с громким криком «Ходил гарбуз по городу!» пускается отплясывать вприсядку. Его сапоги звенят подковками, выбивая лихой танец. Густая пыль летит столбом, и в ее облаке мелькает по временам баранья шапка, складка шаровар или его длинные черные усы. С громом летит мимо таратайка проезжего купца, и последний, подняв с подушек изумленное лицо, смотрит и, спросонков не понимая, что перед ним делается, исчезает в конце улицы. «Молодец! — говорит в одно слово ватага парней, идя мимо плясуна. — Молодец Явтух! Молодец гуляка, Шаповаленко!» И Явтух понимает, что он точно молодец, потому что наконец и головы столетних старцев поднимаются перед ним, и устремляются на него глаза тех людей, которые уже столько лет с утра до ночи сидят, как могильные камни, у своих ворот и смотрят в землю, не поднимая головы ни перед чем на свете.

«Любо жить на свете! Вот так любо!» — думает между тем Явтух, минуя околицу и огородами пробираясь к лесу. Тряхнул он волосами, надвинул шапку, подтянул ту же пояс и взглянул на ясное звездное небо... Звезды дрожат и будто колышутся, точно огоньки воздушных свечек. Но вот из-за леса послышался далекий говор и смех. Хата мельника скоро выглянет из-за деревьев. А там веселье, шум, толкотня, и среди всего — красавица Найда, дочка мельника...

«Что за краля эта Найда! — думал Явтух, пробираясь к околице и перескакивая то через камыш, то через ров, обросший осокой. — Была не была! скажу сегодня всем, что Найда — моя невеста и что я женюсь на ней! Посмотрю тогда, как заартачится старый мельник!» И, разведя кусты, он смело вошел в лес. Темно-

та и мертвая тишина кругом. Ни соловей, ни филин не оглашают леса. Между деревьями на месяце сверкнуло болото; через него по мостику из бревен и ветвей лежит дорога... Подойдя к болоту, Явтух бодро ступил на мост, размахивая длинною хворостиною и рясочая разные замечания насчет людского трудолюбия. «Эка народ эти изюмцы! пять лет копались по пояс в воде и выстроили такой мост, прости господи, что с нечистым не разминешься; а уж куда необъемист этот вражий сын!..» И вдруг он видит, как раз на середине моста уселось что-то маленькое, худенькое, черненькое и мохнатое. Явтух к нему, а оно сидит, и только его зеленые глазки сверкают, как у кота. Явтух закричал: «Брысь!» — а оно и ухом не ведет и только виляет черным и длинным, как у собаки, хвостиком. «Э-ге-ге, дело недоброе! Только упомянул нечистого, а уж он и подвернулся! Постой же ты, иродова душа, я тебе покажу, как вашего брата учат!»

Он быстро подошел и со всего размаха хлестнул его длинною хворостиной. Завизжал, залаял бес, как собака, и кинулся под ноги парня. Явтух пошатнулся, скользнул с мостика и со всего размаха полетел вниз усами в болото.

— Вот вода так вода, да и холодная какая! — пробурчал он, выкупавшись в луже и опять взбираясь на тощие бревна. С его шаровар, с рубахи и с усов текло, как с крыши во время дождя. — Эх-ма! — прибавил он, осмотревшись и выворачивая карманы шаровар и свитки: ни кисета, ни платка, ни денег нет! Все там! — И он показал в воду... — Погоди ж ты, бесов сын: я тебе утру нос! Заставил выкупаться, точно пьяного москаля! И на вечерницы теперь опоздаешь!.. Ах ты, свиное твое ухо... Ах... — И в самом досадливом расположении духа он пошел обратно в Изюм.

Он шел, едва передвигая ноги от намокших шаровар, а тута еще казалось ему, за плечами, по кустам

кто-то шагал и будто говорил ему: «Что, брат? смеяться вздумал? Что? драться вздумал? Вот, теперь и пляши! и пляши!» Закипела месть в его груди. «Не поддамся! — крикнул он и плюнул. — Добегу до хаты, переоденусь и еще поспею на вечерницы!» Сказал и во всю прыть понесся к Изюму...

Но не добежал Явтух и до половины пути, как холод стал пронимать его до костей. Он остановился, оглянулся по полю и, не видя вокруг ни души, присел на траву, да не долго думая начал раздеваться. «Теперь не будет холодно!» — сказал он себе, взял свиту и рубаху под мышки и еще шибче побежал, несясь по высокой траве и перепрыгивая через рвы и кочки... Месяц кстати спрятался в тучи и не смотрел на полураздетого парня. Изюм скоро выглянул из-за пригорка. Огороды Явтух миновал счастливо и, прошмыгнув под заборами, вбежал в околицу. Тут он остановился и бросил пугливый взгляд по сторонам: на улице ни души. Старики и бабы сидели уж в хатах, а молодежь повалила на вечерницы в подгороднюю мельницу... Явтух вздохнул свободнее и впотьмах пустился далее... Но не миновал он и четверти улицы, как из ворот мещанки Хиври Макитренковой с песнями и криками выступила ватага девушек и длинный, как цапля, ткач Юхим Бублик... Разряженная толпа щебетала вокруг ткача, а он со всякими припасами для вечерниц важно шел по улице.

Завидел девок Явтух и обомлел от ужаса. Мокрую свиту и рубаху он оставил на дороге, под огородом, думая завтра рано взять их оттуда. «Ведь это беда!» — подумал он, да так в одних мокрых шароварах и остался посреди улицы. Ватага приближалась к нему... Уж девки близко, уж он слышит их голоса, как счастливая мысль мелькнула в его голове: он оглянулся, вскочил в первые ворота и забился под опрокинутую бочку. В то же время выглянул месяц. Песни и говор раздались под самым его ухом.

— Ох, постойте, девки, я кого-то видела!

— И я.

— И я...

— И я видела! — посыпались звонкие голоса, и толпа остановилась у ворот. Явтух, ни жив ни мертв, сидел под бочкой.

— Куда же оно делось? Как в воду упало! — заметили некоторые голоса.

— Да, точно странно: куда б ему деться? Только что видели...

— Да не под бочку ли залез какой-нибудь дурень? — заметила рябая и косая Векла.

— Может быть, и под бочку! — отозвались другие и уж направлялись к бочке.

— Да нет, постойте, то, верно, слепой Кондрат проснулся и зачем-нибудь ночью выходил из хаты, — перебил длинный ткач.

— Ну так и есть! — захохотали девки и, поглядывая на опрокинутую бочку, пошли далее...

На душе у Явтуха отлегло. Он выглянул, переждал, пока толпа исчезла за околицею, и что есть духу понесся по улице. Прибежал к своей хате, ударился в дверь — на двери висит замок, дверь заперта. Он к окну — оно изнутри заперто, да и без того в окно разве одна рука его могла бы свободно пролезть... «Ах ты, судьба моя горемычная! — сказал он себе чуть не сквозь слезы. — Надо же было матери уйти и запереть двери. Ну где я ее теперь найду?» И он с досады хлопнул кулаком по двери... И вдруг слышит: за его плечами в темноте кто-то заливается тихим дребезжащим смехом. Явтух обернулся и наставил перед собою увесистый кулак. «Не поддамся я тебе, окаянный! Не поддамся, да еще при случае и побью! Хоть в чужую юбку и в бабьи чужие башмаки оденусь, а вот пойду на вечерницы, и горелки напьюсь, и с моею красавицею насмеюсь над твоею собачьею харей!» Сказал и подошел к окну соседней хаты. В хате не было ни души.

Месяц отражался на гладком полу, на печи и на полках, уставленных посудой. Он вошел во двор, ступил на крыльцо и толкнул ногою дверь. Дверь отворилась. «Это не по нашему! — заметил он. — Не запираются, как от татар, прости господи!»

Вошел Явтух в хату своей кумы, молодежи Ивги Лободы, у которой муж был в отлучке, на заработках; припер дверь засовом, достал из печи уголь и засветил огонь. «Кума посердится, да и простит, а на вечерницы я все-таки попаду!» — подумал он и стал снимать со стены оставленные наряды соседки... Надел длинную женскую рубаху, голову повязал платком, надел красные башмаки с подковками, ожерелье «доброго монаста», накинул зеленую кофту и посмотрел в зеркало. «Не будь усов, и вышел бы молодича молодичею, — сказал он с усмешкою, — и как, право, странно рядятся эти женщины! Точно писанки на Пасху... Распотешу же я теперь всю сходку! И набегаются, насмеются и навеселится моя Найдуся, моя зорька, моя краля ненаглядная!»

Он погасил огонь, вышел из хаты, запер дверь и ступил за ворота. Город молчал. Светлая глубина неба переливалась тысячами звезд... Месяц неподвижно и ярко стоял над горою Кремянцем. «Вперед, Явтух Остапович, вперед!» — сказал сам себе Явтух, двинувшись в путь по опустелой улице, и вдруг заболтал по воздуху ногами...

Протер глаза, посмотрел вниз — и обомлел от ужаса. Земля у него далеко-далеко под ногами, а его тянет кверху какая-то невидимая, страшно могучая сила, и он летит все выше и выше, покидая облитый лунным блеском город и быстро рассекая воздух ночи.

— Что? будешь теперь смеяться да грозить? — спросил за плечами чей-то голос...

Явтух обернулся и увидел, что маленький и черненький бесенок торчит у него за спиной, а мохнатые лапы беса держат его под руки.

— Вот тебе и невеста, и горелка, и твои вечерницы! — говорит парубку черт, быстро унося его все выше и выше.

Холодом обдало парня при мысли о мести и силе нечистого, и от страху он закрыл глаза. Когда он вновь посмотрел, земля, город, лес и окрестности — все исчезло под его ногами... Он летел в необъятной пустоте, и воздух с шумом скользил мимо его ушей.

— Куда ты несешь меня, дядюшка? — спросил, опомнясь, Явтух.

— А вот я сейчас тебе скажу! — ответило у него за плечами. — Я тебя, брат, посажу верхом на месяц; и просидишь ты у меня на нем день, два, а может, и год, разве когда месяцу придется опуститься до краев земли, успеешь ты соскочить на стог травы или на какое-нибудь дерево...

— А как я неравно засну и упаду с месяца?

— Ну, туда тебе и дорога! — ответил черт и рванул его еще скорее...

«Прощай, Найда! Теперь уж я тебя не увижу никогда!» — подумал Явтух и отдался на волю беса.

Летел он долго, минуя воздушные пространства; наконец месяц, спрятавшись и опять явившись, мелькнул между разбежавшихся тучек и стал к нему так близко, что он, как после сам рассказывал, мог даже разглядеть, из чего он сделан; а сделан месяц, по его словам, из серебра, только вызолочен, как блюдо из хорошей посуды, да еще в одном месте — должно быть, задел обо что-нибудь на земле — позолота потерлась, и оттого пятна на месяце. Он поднялся высоко и вдруг слышит, что-то в воздухе шумит, и в то же время черт за его плечами задрожал и увильнул, отшатнулся в сторону.

— А! так ты девок таскаешь, сякой-такой? — раздался хриплый и сердитый голос.

Старая, сморщенная ведьма, верхом на метле, налетела на беса с поднятыми кулаками.

— Да это, полноте, не девка; это парень, — пропищал нечистый.

— Как парень?.. Ах ты, сякой-такой!.. А юбка?

— Да вы, Мавра Онуфриевна... да я, право... уж я же вам говорю! — кричал черт, осыпаемый кулаками ведьмы.

— Вот я тебя, вот я тебя! — кричала ведьма, от ревности и злобы не зная, с какого конца лучше отсчитывать удары.

Она ухватила беса за хвост и за загривок и так стала его трясти, что с ее рыжей косы слетел платок, а из когтей черта выпал Явтух и камнем полетел на землю...

— Ну, теперь уж и мне несдобровать! — сказал бес и понесся выше и выше, сиюсь страхнуть с себя злую ведьму.

И долго в воздухе сыпались клочки волос, и крупная брань беса и ведьмы оглашала темные пространства. Явтух камнем летел на землю...

Между тем весело лилась беседа в низенькой светелке подгородной мельницы. Складчина на этот раз удалась как нельзя лучше, потому, во-первых, что мельник, старый вдовец и скряга, уехал в Чугуев на ярмарку и дочка его осталась хозяйкою хаты; и, во-вторых, потому, что многие из изюмской молодежи надеялись на этот раз привести к окончанию свои сердечные дела.

Пол мельниковой хаты был чисто прибран и вымазан заново охрою; стены, также вновь выбеленные, украсились венками и пучками цветов. Печь ярко горела, и в ней шипели на горячих сковородах, в масле, пшеничные орешки, ячные блины и сладёны. Дубовый стол, покрытый белою скатертью, помещался в главном углу, под образами; на нем стояли графинчики с горелкой. На лавке у печи, близ двери в темную

комнату, лежали куски сдобного и пресного теста, яйца, свиное сало и стручковый перец. Вокруг этого стола две молодницы, и одна из них Ивга Лобода, хлопотали над печением и замешиванием сладень и орешков. По скамейкам, опрокинутым ведрам и корытам, вокруг хаты сидели девки и парни. Смех, говор и песни перемешивались с треском печи и жужжанием веретен. Девки, сидя на резных донцах, тянули из гребней пряди и бойко водили веретенами. Иные сидели молча, другие пели песни, а третьи болтали и щебетали, как ласточки в весеннее утро. Парни, кто за столом, кто на перевернутом бочонке, а кто и просто на полу, сидели и тоже занимались разными работами. Иной точил деревянную чашку, другой строгал веретено своей красавице; третий гнул дугу, четвертый расписывал вывеску для хуторянского кабака, а иные говорили сказки. Сказки сменялись хоровыми песнями. При окончании одной из последних длинный ткач Бублик вдруг приложил ладонь к уху и, дав знак рукою, чтоб все замолчали, затянул тоненьким голосом весьма жалобную песню. Это не помешало ему протянуть в печку спичку и потянуть оттуда, под общий хохот, горячую галушку. Все веселились, хохотали, шумели, рассказывали сказки. Не веселилась одна хозяйка, мельникова дочка...

Прошло уже немало времени, а Явтуха не было да и не было. Сперва она думала, что он зашел к своему приятелю писарю; потом ей казалось, что он только притворяется, что давно уж пришел и спрятался где-нибудь поблизости, за хатой, ожидая, что вот она не вытерпит и выбежит сама к нему навстречу. Найда уж готова была встать и выйти, как будто невзначай. «Нет! — подумала она. — Лучше подожду его. Нечего баловать жениха! Положишь ему палец в зубы, так и не вынешь!»

И она осталась.

Прошло еще несколько времени. Найда забылась и слушала, вода веретеном, страшную сказку, которую начал ткач. Нитка пряжи у нее оборвалась, и она выронила веретено. Нагнулась под стол и вдруг видит: в углу, под лавкой, сидит что-то худенькое, маленькое, черненькое и, виляя хвостом, смотрит горящими, как угли, глазами... Найда обомлела от ужаса... Черт между тем посидел и юркнул в дверь; дверь за ним тихо затворилась. Кроме Найды, никто не заметил ни его появления, ни бегства. Сказка тянулась своим чередом.

И вот чувствует Найда, что непонятная сила тянет ее с места за дверь. Она знает очень хорошо, что за дверью, в темных сенях, ожидает ее то же страшное чудище, что за дверью она перепугается до смерти, знает и — дивное дело! — не может себя победить. Встала она с лавки, тихо сложила гребень и отворила дверь. «Куда ты, Найда?» — спрашивают ее подруги. «А вот я... в сарай... корове сена нужно подложить!»

Она ступила в темные сени. В сенях ни души. Она на крыльцо — и на крыльце никого не видно. Площадка перед хатой также пуста. И только под забором маленького садика бегают кот. «Васька, Васька!» — стала она звать кота. Кот вошел в калитку садика. «Еще забежит в лес! — подумала она, — шляется за соседскими кошками...» Но не успела сделать и пяти шагов, как кот к ней обернулся и стал мяукать и расти. Холод пробежал по ее жилам. «Брысь!» — закричала она. Кот ошетинился, выпустил когти, страшно засверкал зелеными глазами, так что осветил соседние кусты и плетень, замаякал еще сильнее и, выгибаясь, стал расти и расти... Найда хотела бежать и не могла: ноги не слушались; хотела кричать — язык, как во сне, не двигался. А кот прыгнул и, поднявшись на задние лапы, протянул к ней усатую морду... «Тьфу!» — крикнула Найда и спрятала лицо. «За что же ты бранишь-

ся?» — спросил у нее нежный и сладкий голос. Найда смотрит: перед нею стоит уж не кот, а Явтух, ее Явтух, ее милый суженый...

— Это ты, Явтух?

— Я, моя кралечка!

— Как же ты напугал меня! Бог знает чем pokazался!

И она кинулась к нему на шею и потащила его за руку в хату.

— А, Остапович, Шаповаленко! — залепетали вокруг парня собеседники. — А мы вас ждали да все дурили, куда это вас занесло.

Найда от радости бегаёт по хате и ставит на стол миски с угощениями. Явтух, крутя усы и нахмурившись, стоит посреди хаты, не снимая шапки и сурово поглядывает по сторонам. «Будет вам, щебетухи, языком тарахтеть! — сказал ткач. — Садитесь вечерять».

Найда всыпала в миску вареников.

Все при этом бросили болтовню и, крестясь, сели за стол. Явтух молча сидел, сложа руки.

— А ты же что паном расселся? — спросила его с досадою Найда, видя его невежливость. — Не велика птица! на полотенце да занавесь свои шаровары, а то еще как раз с усов капнет!

Явтух нагнулся к столу и раскрыл рот. В ту же минуту дивные дела произошли в хате. У одного из парней в кармане были припасенные орехи и рожки; вдруг карман раскрылся, и орехи, а там и рожки, будто воробьи, стали вылетать оттуда, направляясь в рот Явтуха, который только раскусывал их. Долго никто не мог прийти в себя от изумления. «Э-ге-ге! да что же это такое?» — подумали в один раз все гости и остались неподвижными. Молчание сделалось такое, что слышно было, как муха жужжала и билась где-то под опрокинутым кувшином.

— Ой, лелечко, братцы!.. караул! — закричал вдруг ткач, весь в муке вскакивая из-под стола, куда нагнулся искать упавший кисет с табаком. — Да это не Явтух; это, братцы, такое, чего и назвать нельзя... у него хвост собачий! Смотрите!..

— Черт, черт! — закричали все и, во мгновение ока выскочив из хаты, побежали куда глаза глядят.

В то же время у мнимого Явтуха упала с головы шапка и на лбу сверкнула пара золотых рожек. «Так вот это кто!» — подумала Найда и замерла от ужаса, оставшись глаз на глаз с тем, которого, по словам ткача, даже и назвать было нельзя...

Выроненный из рук чертом, Явтух стремглав понесся с неба, посылая прощания милой и ожидая каждое мгновение, что вот снизу, из воздушной тьмы, выяснится река, болото или сухое рогатое дерево и он распростится навеки с жизнью, — как вдруг неожиданно почувствовал под собою что-то мягкое. Он осмотрелся и видит, что упал со всего размаха в стог свежего пушистого сена и утонул в нем по самую шею. Почувствовав приятный запах травы, Явтух сперва убедился, что все ребра у него целы, потом выкарабкался из сена, лег на стог и посмотрел вниз...

Возле стога был разложен огонь. Толпа чумаков, наклонясь над чугунным котелком и куря трубки, сидела у огня.

— Здорово, паны-браты! — сказал со стога Явтух.

Чумаки, не поднимая головы, не двинули ни плечом, ни усом, а только в один голос ответили:

— И ты будь здоров!

— А я к вам! — сказал опять Явтух.

— Милости просим! — ответили чумаки, не поднимая головы и спокойно сося коротенькие трубки.

Явтух оправил на себе бабью юбку и кофту и с такою речью обратился к чумакам:

— А посмотрите-ка, добрые люди, в чем я!

Чумаки вынули изо рта трубки и подняли к нему головы.

— Хорош? — спросил Явтух.

— Хорош.

— И башмаки хороши?

— Хороши.

— А платок? — спросил Явтух.

Чумаки, которые опять было принялись курить, удивляясь, что это за человек их расспрашивает и откуда он взялся, опять отняли изо рта трубки и, смотря на Явтуха, ответили:

— Хорош и платок.

— Хлеб же соль вам! — сказал нежданный гость, спускаясь на землю со стога. — Должно быть, борщ варите, с таранью.

— Нет, кашу с салом.

Явтух спустился на землю и подсел к костру.

— А позвольте узнать, господа чумачество, откуда вас Бог несет?

— Из Крыма.

— За солью ездили?

— За солью.

— А где мы теперь, паны-браты? — прибавил Явтух.

Чумаки молча переглянулись: вот насмехается человек.

— То есть... как оно... насчет, то есть?... где это место, на котором вот мы теперь сидим? — прибавил Явтух, указав пальцем на землю.

— Где это место? — спросили чумаки, опять переглянувшись между собою.

— Да, добрые люди.

— За Мелитополем.

— Слышал, слышал, братцы, про Мелитополь! слышал! это от нас верст пятьсот будет! Еще оттуда,

то есть — тьфу! — отсюда... коробейники к нам с ситами ходят. Ну, хватил же нечистый! в полночи полетел полтысячи верст.

Чумаки перестали курить.

— Так ты, стало быть, не здешний? — спросили они.

— Не здешний... Я из Изюма, коли знаете. Еще сегодня ходил там по базару и купил себе шаровары, — заметил Явтух, да и запнулся на этом слове. — То есть, просто диво! — вздохнул он и, придвинувшись поближе к чумакам, стал рассказывать обо всем дивном и непонятном, что с ним случилось в тот вечер.

«Спьяну!» — думали, глядя на него, чумаки.

— Да что, — сказал в заключение Явтух, — я вам, братцы, скажу такое еще, что просто от смеху за бока ухватишься... Дайте трубочки покурить... Как летели мы с чертом, встретилась нам ведьма, рыжая да старая, такая старая, что только воронье пугать. Завидела меня у него в лапах, подумала, что я — не казак, а девка, потому что в этой юбке был, и вцепилась в него. Нечистый выронил меня, а с головы ведьмы свалился платок. Так она, простоволосая, и полетела с ним под самые звезды... Когда я падал сюда, вижу — по дороге летит оброненный ведьмою платок; я его захватил на лету с собою! Должно быть, вещь важная! — заключил Явтух и, спрятав трубку за пазуху кофты, выложил перед глазами чумаков яркий, невиданного цвета платок.

— Эка, бесово племя! да еще и козырится! — прибавил Явтух, собираясь спрятать находку, и видит: сзади его на корточках сидит тощая простоволосая старушонка и из-за его плеча протягивает костлявую руку. «А! так ты тут?» — закричал Явтух, так что чумаки привскочили на месте, и ухватился за сморщенную лапу ведьмы.

Ведьма заметалась, закричала, как заяц, когда собаки поймают его за длинные уши, и стала, подпрыгивая,

подниматься с Явтухом из кружка изумленных чумаков. Тихо всплыл он с ней опять на воздух и, освещенный блеском костра, взмахнул ногами, стал исчезать в темноте, превратился в красноватую точку и скрылся... И долго еще чумаки в серых бараньих шапках сидели под стогом, с опрокинутыми головами, и неподвижно смотрели в темное небо...

Как легкое перо, носимое ветром, летел Явтух по небу, держась за руку ведьмы. Ведьма бросалась из стороны в сторону и стонала, выбиваясь из сил. Наконец она поднялась так высоко, что, как рассказывал впоследствии Явтух, чуть не зацепила за край месяца и стала опускаться на землю. Явтух не унывал и, держась за ее руку, смотрел вниз.

И вот, видит он, далеко-далеко внизу сверкнули огоньки, сперва один, потом два и, наконец, целые сотни. «Что бы это было такое? — думал Явтух. — У нас в Изюме давно уже спят. Уж не Полтава ли это или Бахмут?»

Воздух с шумом летел мимо его ушей, а с земли неслись к нему навстречу чудные картины. Утесы и горы, покрытые лесами; на скалах каменная крепость, башни, лес, глубокие, как колодцы, долины и, наконец, целый огромный город, залитый огнями. Явтух только высматривал, обо что ему придется грянуться и распротириться с жизнью, и вдруг почувствовал, что снова тихо и плавно на что-то опускается. Он стал на ноги, а ведьма, утомленная несением здорового парня, воспользовалась счастливым мгновением, вырвалась у него из рук и с быстротой молнии исчезла в темном пространстве.

Явтух окинул взором окрестность.

Богатый город расстился у его ног; он сам стоял на плоской кровле высокой башни. Где же это он? и что это за город?

Башня помещалась в нижнем отделении сада, идущем уступами в гору. Вокруг башни — ряд тополей. Далее, вправо, небольшой пруд, окруженный мраморною набережной; кусты широколиственника темнеют здесь и там, и месяц ярко отражается в стекле пруда... Другая, более высокая ограда окружает и тополи, и пруд, и башню. За садом виден пространный двор; его обступают высокие терема с островерхими крышами и причудливо-резными окнами и деревьями. В глубине двора возвышается новая башня с воздушным крылечком. Глядя на огоньки в окошечках домов, прилепленных к уступам гор, между которыми лег город, Явтуху показалось, что по сторонам его не горы, а огромные дворцы, с тысячами окон. «Нет, это не Полтава!» — сказал он сам себе, и, для того чтобы убедиться, точно ли он все это видел наяву, а не во сне, он ущипнул себя за ухо, а потом за нос. Ничуть не бывало! он, точно, не спит и находится в каком-то далеком дивном городе.

Осмотревшись еще несколько вокруг себя, Явтух протянул руку в карман кофты и, вынув оттуда трубку, взятую у чумаков, а из шаровар огниво, вырубил огня и, стоя на крыше башни, принялся курить и поглядывать на город, на скалы и небо. «Оно бы и выкупаться хорошо!» — подумал он, глядя на пруд. И, нагнувшись с башни, увидел, что сойти с нее очень легко: тополь росла у самой ее крыши. Недолго думая, он уцепился за ствол и стал спускаться на землю, но не успел миновать и половины дерева, как дверь из терема в садик отворилась и целая толпа женщин в белых покрывалах и желтых и красных остроконечных башмаках потянулась через крыльцо к пруду. За женщинами шел черный губан-араб в широких шароварах, зеленой чалме и с саблей у пояса. Сердце застыло в груди Явтуха, и руки приросли к стволу тополя. Он остановился в воздухе, а вошедшие женщины, не за-

мечая его, с хохотом и с криками окружили пруд и, в пяти шагах от него, стали скидать с себя длинные легкие покрывала...

Найда, оставшись между тем глаз на глаз с чертом, долго не могла опомниться: мнимый Явтух сидел перед нею за столом и пристально глядел на нее. Наконец он шевельнулся, поправил ус, кашлянул и протянул к ней руки...

— Краля ты моя, Найда, садись возле меня. Да обними, да поцелуй.

Найда вскочила.

— Сгинь ты, окаянный, нечистый! — крикнула она и бросилась в другой угол хаты.

Бес засмеялся и кинулся вслед за нею. Найда, не смотря на то что приходилось возиться с чертом, ловко увертывалась и отбивалась от него. Уж одна из лап нечистого ухватила ее за рукав рубашки, а другая порвала нитку красных гранатов, и те со звоном посыпались на стол и по лавкам; уж она почувствовала на своих щеках дыхание черта. «Явтух, Явтух!» — закричала она в отчаянии и, одним взмахом руки отбившись от объятий беса, кинулась в темный чулан, заперла за собою дверь и наложила на нее крестное знамение. Черт грянулся в двери и остановился. Найда в страхе смотрела в замочную скважину и увидела странные вещи...

Бес, принявший образ парня, сел за стол, придвинул к себе миску оставленных вареников, достал с полки здоровенную флягу водки и с голоду принялся закусывать. Все было тут же вскоре очищено. Тогда черт принялся выглядывать, как бы удобнее лечь спать. Мостился он долго и безуспешно. Лег на лавку — узко; лег на пол — холодно; лег на печку — жарко... Охмелевший бес подошел к столу, на котором месили тесто, и лег прямо в муку. Только и тут еще провозился немалое время: то ляжет так, что голова

свесится, то ляжет так, что свесятся ноги. Наконец он лег поперек стола, то есть в таком положении, что с одной стороны свесились ноги, а с другой — голова, и заснул.

Найда подождала еще несколько времени, усмехнулась, отыскала впотьмах свою шубку, постлала ее на сундук, начала молиться долго и не спеша, перекрестила все углы, окна и двери, легла тоже, свернулась клубочком и заснула, еще не оправаясь от тревоги и волнения той ночи. И долго во сне ей мерещилось все, что она испытала, и пьяный сатана на столе, который храпел не хуже хмельного отца Найды, каким тот возвращался иной раз с ярмарки.

Ни жив ни мертв сидел Явтух на тополи, держась за ствол, и смотрел на непонятные вещи, происходившие вокруг него. Женщины, скинув покрывала, вошли в ограду пруда и стали скидать с себя серьги, золотые шапочки, пестрые туфли, наконец, стали расплетать длинные косы. Надобно сказать, что Явтух был вообще храбр и смел только с своим братом; женская же красота совершенно отнимала у него всякую прыть... «Боже мой, боже! что ж это будет?» — думал он, глядя из-за ветвей тополя на толпу раздевавшихся красавиц.

С криками и хохотом кинулись незнакомки к воде. Араб, зевая во весь рот, ушел в терем.

Красавицы между тем уселись на ступеньках ограды и, скидая с ножек башмаки, нехотя и шаловливо опускали ноги в холодные струи. Вот они расстегивают шелковые пояса, готовятся сходить в воду.

«Господи боже мой! что ж это я делаю! зачем я смотрю на этих женщин? Ведь они совсем и не знают, что я тут...»

Недолго думая, спустился он с дерева на землю, поднял одно из покинутых покрывал и, закутавшись

в него, сел на берегу пруда. Купальщицы его заметили.

— Это кто? — закричали они.

Явтух закутался с головой.

— Это ты, Ханым?

— Это ты, Шерфе? — заговорили купальщицы и стали плескаться, прыгать и возиться, как маленькие рыбки.

«Ну, — думал Явтух, жмуря глаза, — что-то будет дальше?»

— Да что ж ты молчишь? Выходи, раздевайся и полезай в воду купаться с нами.

— Ай, усы!!! — закричали вдруг некоторые, и все пугливо бросились в воду.

— Что вы испугались, добрые пани? — проговорил Явтух. — Я мещанин из Изюма.

— Э! да это и вправду казак! — сказала одна из красавиц по-русски.

— Ну да, казак! — прибавил Явтух. — Лукавый бес занес меня и опустил вон на ту башню.

Возгласы изумления раздались из воды.

— А скажите, пани, где это мы теперь... то есть какой это город?

— Бахчисарай.

— А далеко это будет от Изюма?

— Считай сам; это — столица Крымского царства...

— Крымского царства! — вскрикнул Явтух, всплеснув руками. — Ведь это еще дальше Мелитополя будет!..

— Тс! что ты! не говори так громко, а то как раз будишь всех во дворце, — сказала незнакомка. — Ложись лучше в этот ящик; мы оденем и тебя потихоньку пронесем в наши комнаты.

— Да кто вы такие? — спросил Явтух, заноса ногу в ящик.

— Мы жены крымского хана! лежи смирно!

И красавицы бережно понесли его в терем.

Когда Явтух почувствовал, что ящик снова опустился, он приподнял крышку и встал на ноги. Стены гарема, где он очутился, были обтянуты красным сукном. По полу валялись подушки. Зеркало над камином было обито фольгой. Дрожащий свет лампы из разноцветных стекол лился с потолка, и легкий дым курильницы, стоявшей у завешанной двери в другую комнату, стлался по полу. Явтух не мог надивиться на все это и, подняв голову, оглядывался по комнате.

— Какой хорошенький! — сказала одна из красавиц по-своему.

— Какой страшный да усатый! — прибавила говорившая по-русски.

— Давайте, сестрицы, свяжем ему руки да оденем его в наши наряды! Ведь одели же его где-то казачки в юбку...

— Ах, да какой он смешной! — закричали остальные, хлопая в ладоши и еще теснее окружая гостя.

Явтух вежливо и молча стоял перед ними.

Одна из жен обратилась к нему с просьбой:

— Повесели нас твоими рассказами; какою силой занесло тебя сюда?

Просьбу эту ему перевели. Явтух почесал за ухом.

— Да что же такое я вам, пани-матки, расскажу? Я, право, и не знаю; язык как-то... того... не ворочается!

— А вот мы его подмажем! — сказали более догадливые.

И с этими словами его усадили на мягкие подушки, поставили перед ним низенький столик, а на столик большое блюдо с яблоками, персиками, виноградом и татарскими пряниками и принесли ему ханский кальян.

— Начать с того... — заговорил Явтух.

И всю ночь рассказывал он красавицам свои похождения, которые тут же переводились. Когда на подносе не осталось уж ничего, Явтух встал и, покачиваясь, сказал:

— Теперь уж все! теперь уж я пойду отсюда...

— Как пойдешь? — спросили с удивлением красавицы.

— Да мне пора уж домой.

В комнату проникал бледный рассвет зари.

— Ах, какой ты чудной! Ведь сам же говоришь, что от твоей родины до нас чуть не тысяча верст.

— И то правда! — вздохнул Явтух, почесывая за ухом. — А впрочем, нет, уж лучше я пойду!

— Да ведь вокруг дворца течет речка, и часовые стоят у поднятых мостов! Если тебя увидят да поймают, то приведут поутру к хану, на дворцовом мосту отсекут тебе голову, положат тебя в мешок да так, без головы, и бросят в воду.

— Э нет, я уж лучше пойду! — твердил Явтух, пробираясь сквозь толпу красавиц к двери.

— Так хоть, по крайней мере, погоди ты, бешеная голова! Мы тебя вынесем опять в ящике в сад, и ты опять влезешь на крышу; оттуда спустишься на улицу; авось найдешь в городе какого-нибудь жида: он тебя и вывезет в таратайке, под мешками.

И, уложив его снова в ящик с нарядами, красавицы вынесли его в сад. Явтух толкнул крышку и оглянулся вокруг себя.

Месяц опустился за гору, и румяная полоса на другом конце города показывалась из-за плоских крыш. В воздухе свежело. Роса сверкала на листьях цветов. Отблеск зари прокрадывался по островерхим минаретам, плоским крышам саклей и по трубам позолоченных кровель ханских дворцов.

Явтух протер глаза: что это такое? Перед самым его носом торчит опять вчерашняя рыжая старушонка.

— Не унывай, казаче! — говорит она. — Прости меня и забудь прошлое; дай только мне найти да порядком проучить того косолапого, что тебя вчера обидел, так я мигом тебя донесу домой.

— Кого найти, какого косолапого? — спросил с изумлением Явтух.

— Черта! — ответила ведьма. — Моего губителя, изверга! Он теперь заперся на мельнице с твоею невестой и сидит там всю ночь, окаянный.

— С моею Найдой? — закричал во все горло Явтух и так ухватился за тоненькую лапу ведьмы, что та невзвидела света. — Неси меня, распропащая твоя душа! неси, а не то, вот клянусь тебе, измелю тебя в табак!

И, вскочив на спину ведьмы, Явтух стиснул ее коленями, засучил рукава и поднял здоровенные кулаки. Ведьма сперва пошатнулась, заскреблась лапками, как мышь; но потом понемногу выпрямилась, подпрыгнула и стала подниматься с парнем на воздух. Она полетела сперва к крыше терема, потом через двор к мечети, а наконец, стала косвенно подниматься кверху. Ханская стража заметила их. Во дворе, в саду и на улице поднялся сильный переполох. Махали саблями, раздавались крики, даже послышался ружейный выстрел. Но трудно было догнать улетевших: поминай как звали...

Сидя на плечах ведьмы, Явтух недоумевал, как это она, не двигая ни руками, ни ногами, летит быстрее облака, гонимого ветром. В это время он поднялся так высоко, что кое-где на земле еще были сумерки, а он уже увидел вдалеке красный шар солнца, которое будто купалось в волнах большого озера, готовясь выкатиться в ясное небо.

— А какое это озеро, тетка? — спросил Явтух у ведьмы.

— Это Черное море! там много хорошей тарани, да и всякой другой рыбы.

«Э!» — подумал Явтух и отшатнулся.

Прямо в глаза ему налетела легкая прозрачная тучка, и он исчез в ней, точно в волнах серебристой ки-

сеи. Когда он вылетел снова на свет, в его волосах и на рубашке блестели капли росы, а тучка далеко-далеко внизу виднелась лиловою точкою.

В иных местах, когда уж несколько рассвело, он увидел в воздухе ранних жаворонков, у которых глаза еще спали, а они уж поднялись в небо и славили своими песнями восходящее солнце.

Из трубы какого-то села вылетел в серебряной одежде светлый дух, держа на руках что-то.

— Это что такое? — спросил Явтух.

— Это ангел Божий уносит в небо только что умершую девушку!

«Уж не моя ли Найда?» — вздохнул Явтух.

В другом месте он совершенно наткнулся на распластанного под облаками коршуна, который сторожко глядел вниз, в траву, и выбирал себе утреннюю поживу. Явтух хотел ему дать по дороге порядочного тумака, но одумался, чтоб не сорваться с ведьмы, и полетел далее.

— А это какие голубые облака? — спросил он ведьму.

— Это Черкесские горы, покрытые снегом, и снег этот никогда на них не тает.

— Как никогда не тает?

— Так же, никогда!

— Стало быть, и в косовицу не тает?

— И в косовицу не тает.

«Чудеса, да и только!» — подумал Явтух и стал снова всматриваться в бесконечные пространства земли, выходявшей под ним из ночных сумерек.

— Ну а то что такое? — спросил он, указывая налево, через плечо. — Точно жар горит; должно быть, чумаки чужие леса подожгли?

— Это город Киев, и в нем так золотые главы церквей горят!

«Э! — подумал про себя Явтух. — Какой же важный город Киев, да никак в нем уже и к заутрени бла-

говестят? — И он еще пристальнее начал вглядываться вниз. — Послушай... как тебя звать? Мавра Онуфриевна, что ли?.. это уж и на базар выходят? Ишь ты, как народ повалил на улицы; должно быть, ярмарка!

— В Киеве каждый день ярмарка; уж такой, хлопче, город удался!.. — заметила ведьма и понеслась еще быстрее.

— Да куда тебя несет так? погоди, скажи-ка, тетка, где Москва?

— Москва, казаче, так далеко, что нужно еще в десять раз подняться выше, и тогда увидишь не всю Москву, а одного Ивана Великого, да Царь-пушку.

— Ну а вон то что такое танцует? — спросил, помолчав, Явтух.

— То плясовицы, бабы некрещеные, выходят всякое утро, рано на заре, с распущенными косами, на вершинах курганов солнце встречать... Пора, пора! — проговорила неровным голосом ведьма. — Надо петухов обогнать...

И она помчалась стрелой.

— Как петухов обогнать?

— Под нами, как пролетали Катериновку, давно уж в первый раз прокричали... Скоро прокричат в другой раз, а до третьих петухов надо все покончить.

— Эх ты, мышинная кума, где была! — заметил весело Явтух, покачивая головою.

— Что ты сказал, хлопче? — спросила ведьма, оглядываясь на него.

— Я спрашиваю, что это такое выяснилось там внизу, точно коровы идут по зеленой травке?

— Это — вправо Даниловка, налево Гусаровка, далее Пришиб, Петровское, а еще далее Харьков.

— Ну а это какие серебряные ленты протянулись, точно змеи по лугам?

— Это, казаче, реки Донец, Берека да Торец со своими озерами...

Не успел оглянуться Явтух, как земля, горы, леса и весь Изюм понеслись к нему навстречу.

— Тише, тише! — закричал Явтух, камнем падая на кривую березу, что росла у самой мельниковой хаты.

— Ничего, хлопче! сиди только смирно! — ответила ведьма и тихо опустилась на землю, под березой у порога хаты. — Теперь слезай с меня и отворяй двери; твоя невеста их перекрестила, и мне туда не войти.

Явтух стал на ноги, хотел войти в дверь.

— Нет, погоди! — черт теперь спьяна спит, так ты его не буди, а прежде ступай в кладовую и выводи оттуда свою красавицу. С косолапым же я сама справлюсь!..

С трепетом подошел Явтух к кладовой, в которой спала Найда. Чуть переводя дух, он взялся за дверь; еще в первый раз в жизни он переступал порог, за которым спала его суженая. Он повернул скобку двери и остановился. «Нет, — подумал он, махнув рукой, — не войду!» — и прибавил шепотом, наставив губы к замочной скважине:

— Найда, вставай, одевайся, выходи...

— Кто там? — спросил тихий, чуть слышный голос.

— Это я, Явтух... твой Явтух, моя кралечка!

— А если ты Явтух, а не тот, что лежал на столе, так перекрестись: я буду в щелку смотреть.

Явтух перекрестился; дверь отомкнулась; Явтух и Найда бросились друг к другу.

— Какой же ты странный, Явтух, в этом наряде!

— Ничего, моя зорочка, пойдем отсюда; после я тебе все расскажу.

Он тихо увлек ее из хаты и тут только, проходя мимо двери, заметил, какая образаина лежала на столе, свесив на пол ноги и отекающую пьяную голову. Они вышли на крыльцо, а ведьма с порога прыгнула в хату, и скоро там послышались крики, брань, визг, шум,

и в растворенную дверь запыхавшаяся ведьма злобно вытащила за чуб мнимого казака.

— Вот я тебя, вот! — кричала она, трепля беса за волосы, как бабы треплют мочки льна. — Вот я тебя! теперь не скажешь, что не бражничаешь да не гоняешься за девками.

— Да что вы! да помилуйте! — стонал жалобным голосом черт, успевший принять свой бесовский образ.

— Вот я тебя!.. а?.. за девками? — и град кулаков сыпался на сатану.

К его счастью, прокричали петухи.

Ведьма опять ухватила худого беса одною рукою за хвост, а другою за загривок, повернула его вверх ногами и поднялась с ним на воздух.

— Вот тебе и на! — усмехнулся Явтух, прижимая к сердцу Найду. — Поплатился-таки вражий сын! Ишь ты, как удирают! точно москаль с краденым индюком на ярмарке... Ну уж ночка! — прибавил он, нежно глядя на Найду и ласкаясь к ней.

— Да! — сказала, вздохнув, Найда. — А ты где был все это время?

— В Крыму, — ответил Явтух.

— Как в Крыму? в Крымском царстве?

— В Крымском царстве...

— Любит прибавить, брехун, да нехотя поверишь, что был он сегодня в Крыму! — проговорил у Явтуха за плечами басистый голос. — Нехотя поверишь после всего, что сейчас видел.

Явтух и Найда оглянулись. За ними, на подъехавшей тележке, сидел старый мельник и, закинув голову, смотрел в небо.

— Все расскажу вам, Семен Потапович! — сказал Явтух, кланяясь в пояс мельнику. — Ничего не утаю, только отдайте за меня Найду.

И он замер в ожидании ответа. Найда стояла в стороне, закрыв лицо рукавом.

Мельник сбросил с телеги кучу пустых мешков, слез наземь, перекинул на спину лошади вожжи и, взявшись руками в бока, задумался.

— Разве уж потому, — сказал он наконец, поглядывая поверх хаты, — что счастливо продал муку в Чугуеве! Так и быть, дочка; так и быть, Явтух! Только уж ты, брат, не отвертись, расскажешь все, как было!

ДЕДУШКИН ДОМИК

Над. Фед. Бантыш

Теплинский лес выходит на большую чумацкую дорогу. В старину по случаю частых разбоев о нем говорили: «Кто минует голую долину, да высокую могилу, да Теплинский лес, то не возьмет того бес!» Времена стали другие. Лес состарился и измельчал. Но одна половина его, именуемая Черточешенским уступом, по-прежнему пугает праздное воображение людей. Дремучая дебрь уступа полна таинственности и мрачных красок. Впрочем, слово «дремучая» да не введет никого в ошибку; дремучего здесь, собственно, очень мало, потому что эта дебрь простирается не далее каких-нибудь двух или трех верст и дремлет в ней разве одному усталому от зноя лесничему да старику-дровосеку. Нет в Теплинском лесу ни рысей, ни песцов, ни росомех, ни горностаев; нет в нем ни барсуков, ни соболей, ни ланей, ни бобров, ни медведей. Зато в неисчислимом множестве прыгают в его чаще приземистые красно-бурые лисицы; зато все дубки и орешники его усеяны белками; зато волки в нем как дома: никто им уже более пятнадцати лет не мешает тут плодиться, делать набег на соседние слободки и хватать из соседних слободок лучших поросят и барашков. Один только раз досталось в ближнем селе, Панковке, какому-то косолапому серку. Зато же он и наделал дел! Пробрался в околицу, да не только пробрался, а отыскал еще хату, и что бы вы думали? са-

мого атамана, Колодняжного Юхты, он же и Хринов-
вый Буряк, — отыскал, вошел в сени, из сеней в две-
ри, залез на печку, съел там три окорока, откопченных
к Петровским розговенам, закусил миской вареников
с ягодами да там же и заснул. И досталось же за это
косолапому серку! Теплинский лес перерезан многи-
ми озерами, из которых Лебяжье, Плоское и Кривое
считаются лучшими потому, что нигде нет такого мно-
жества дичи, как там. В Черточешенском уступе, о ко-
тором пойдет главная речь, протекает небольшое бе-
зыменное подвижное озеро, просачиваясь из безымен-
ного же болота, и теряется тут же между тростниками.
На низменной просеке Черточешенского уступа, на
гребне зеленого косогора, над озером и болотом, сто-
ит дедушкин домик. Он стоит тут уже с давних пор...
Вид с косогора на воду, перебившуюся кучковатыми
плёсами, по которым, едва пробежит ветер, стелется
лилово-сизый отлив, и на сочную зелень болота в ра-
ме тростников и густолистных кустарников, — хорош
особенно летом. Какая странная и причудливая рас-
тительность! Как перевиты эти сучковатые деревья
диким хмелем! По окраинам озера стелются ползу-
чие травы, называемые бабьим неводом. Чемерка, ло-
пухи, козий листик и заячья капуста, былина и ряс-
ноголовая кульбабка, волошки и сочные козёлки, так
любимые собирательницами грибов и лесных ягод,
козёлки всех родов и свойств, и белоголовый дряб-
чатый смодв, и сизый молочай, и голубая колючка, и
рогоз, и, наконец, сладкие шпигаки — чего только нет
в этом лесу! А как настанет весною прилет птиц —
и запоет, застонет кудрявый лес. По влажному остыв-
шему илу, как на коньках, скользят и бегают пестрые
курочки, и серая поверхность усеивается крестиками
пурпурных ножек, как старинная рукопись старинны-
ми словами. Каждый куст, каждая ветка одеты своею
благоуханною атмосферою. А носатый огарь, точно

клок красного сукна, перебрасывается с дерева на дерево, бегают и тихо вытаскивают из влажной земли сладкие корешки, белые поросли камыша и прошлогодних букашек или же, беззаботно набегавшись, стоит себе на одной ножке, зажмурив глаза по сторонам поднятого носика, и дремлет под полусонное жужжание кузнечиков и мошек, и медленно качаются вокруг него широкие сквозящие лопухи и махровые ленты хмеля, и тихо застилает его прохлада подступающего вечера, и проносятся над ним, как бродячие певчие струны, рогатые жукалки и трепетные сумеречные бабочки. Но вот заливаются голубым и красным потоком цветущие не́коси. Трещит и сохнет, отнесенный весеннею водою, бурелом и разное мелкое ухвостье. В камышах пробираются облинялые бескрылые утки. Гнезда свиты, начинается бесконечная, громкая, роскошная лесная свадьба. Вот она идет и подступает... На тихой утренней заре, когда по темным деревьям только что мелькнули желто-пурпурные пятна и туман свился и плывет над болотом, в недостигаемой вышине берут верх и идут какие-то чудные звуки: точно торжественный, таинственный благовест раздается под небесами и падает на землю. И вот — все слышнее и слышнее, все ближе и ближе. Несутся воздушные полки воздушных армий... На лес проливается целое море звуков. Черкание болотных веретенников, сонное курруканье горлинок, звон травников, как теньканье крохотных стеклянных колокольчиков, резкое чоканье дроздов и дребезжащий смех пустынной хохотвы, как ауканье спрятанного в кустах лешего, долетающий откуда-то чуть слышный бой перепела, треск куличка и печальные перезваниванья иволги — сколько странных, сколько причудливых голосов и звуков! Но и в тихое осеннее время, когда матери перестали уже печально скликать разбежавшихся и разлетававшихся детей, когда в траве не шныряют утомительные

куличата и гусыня не переносит уже с плёса на плёсо за шейку крохотных гусенков, когда белоствольная береза ярко отделяется и сверкает на матовом багрянце вязов и сквозящего лапчатого клена, когда, наконец, голубое сукно васильков уже не застилает ни болотной кутемы, ни пеструшки, — и в тихое осеннее время Теплинский лес имеет много торжественно-таинственного. Погóныш, как тень, скользит в сумерки по темной, ползучей шмаре; неугомонный дятел долбит и вьется вокруг дупла столетнего, увешанного вороньими гнездами береста, и звучно падает в пустынной тиши иссохший лист, считая обнаженные сучки и ветви, и звучно уносится умирающая до новой весны певучая лесная жизнь!..

Дедушка был не промах, когда построил свой домик на таком выгодном месте. Домик представляет любопытное зрелище. Он стар и покачнулся набок. Соломенная крыша его завихрилась и поднялась от ветра, как панцирь у ежа. Бревна его исчерчены иероглифами червей, а крыльцо, как остов павшего в степи коня, проросло крапивою. Небольшой ребенок даже и не взойдет на него; он взойдет на него только при помощи опрокинутого ведра или колоды, на которой дедушка кует провололочные крючки для своих удочек. Зато в теплую погоду, от весны до осени, окна домика раскрыты настежь, и свободно летают в них мошки и сумеречные бабочки, и свободно летают в них лепестки цветущих яблонь и молодые ласточки и синички. Когда подобное обстоятельство случается, родители крохотных птичек долго летают и тиликают в ветвях соседних деревьев, предполагая, что это дедушка хищным набегом на их владения похитил маленьких птичек. А дедушка ходит себе в мерлушковом халате, ходит и знать ничего не хочет. Зеленый картуз с гигантским овально-продолговатым козырьком, весьма напоминающим утиный нос, покоится на его голо-

ве. И ходит себе дедушка, заглядывая под кусты и деревья, колируя и подпиливая засохшие сучки. И весело дедушка посматривает с зеленого косогора... А тишина в старом домике невозмутимая. Дедушка однажды сознался, что в какое-то особенно бурное лето птичка, именуемая овсянкою, залетела в окно его спальни, на глазах его свила в углу, в развешанных мотках пряжи, гнездышко, выкормила детей и с новорожденною семьею снова улетела из спальни. Как не последний мечтатель, дедушка дал этому событию такое значение: «Придет время, и вот он сам явится в домик с маленькою, своею собственною птичкою». Впрочем, это было еще давно-давно, в годы прошедшей юности. Черточешенский уступ видел дедушку и ребенком, у которого щеки походили на спелые яблоки, а голова на репейник, и школяром, улетевшим из соседнего городка на каникулы с новоизобретенными хлопущками и незатянувшимся синяком под глазом, и офицером в мундире с желтым воротником, на который заглядывались соседние хуторянки, владельницы пары черных бровей, полной груди, звонкого девического смеха и нескольких десятин зеленых, грунтовых садилов; не видел только родимый лес дедушки счастливым... Но что же это за дедушка? Каково его начало и происхождение? История дедушки есть история его домика, и потому расскажем обстоятельно последнюю.

И во-первых, история древняя.

С давних давен и старинной старины территория Теплинского леса принадлежала предкам дедушки. Зажиточные предки, считавшие свои земли не клочками болот и озер, а десятками тысяч десятин не тронутой плугом, пустынной нови, по которой рыскала татарва, жили в высоком просторном доме, срубленном из столетних дубов. Двойной частокол окружал дом; на столбе, среди двора, качался сторожевой колокол и звучал цепью привязанный к столбу медве-

жонок. Старые деды жили весело, родились и умирали, не выезжая далее соседнего поветового городка. В темные осенние ночи, когда волки выли за озером, под проливным дождем у ворот останавливался путник, колокол звучал над озером и селом с низенькою церковью, раскинутым у подошвы холма, и рычал на цепи косматый сторожевой медвежонок. Столетний слепой садовник, отыскивая дорогу палкой, с фонарем, вводил путника в просторный дом. Тут было тепло и отрадно, среди развешанной и расставленной утвари. Хозяин с кубком вина на серебряном блюде встречал гостя, а в высокую резную дверь входила стройная панночка в парчовом платье и с корабликом на голове, панночка, у которой полный стан не перетягивался рюмочкой и густые брови были как на шнурочке. Гость с хозяином заводил речи об иностранных землях и народах, о далеких штурмах и боях. Говорил гость, и долго по его отъезде чудились панночке и ее седоусому отцу битвы и пожары, пышные убранства и громы музыки, турниры и чужеземные красавицы, и тихая, сладкая речь гостя, которого наконец догоняла вдали от них, в чужом краю вражья пуля. Тихо старелся и разрушался величественный дубовый замок предков. Иногда во время домашних праздников и пиров, при громогласных «ура!» и выстрелах пушек, стоявших у ворот частокола, не малое количество штукатурки падало с потолка на подносы, уставленные кубками, и стены дома многозначительно покрякивали на шумные заздравные тосты. Когда дедушка принял наследство и вышел в отставку, родовое село его за разные забавы и увеселения предков неожиданно продали и перевели куда-то за реку. Не спасли дедушку ни желтый офицерский воротник, ни диплом Шляхетного корпуса, где он кончил свое воспитание. Дедушка скинул сюртук, сказал: «Ну что же? не взяла!» — подумал, подумал и сломал свой старый большой дом.

В видах улучшения печальных обстоятельств на первый раз из обломков дома был выстроен овчарный загон, причем сам владелец поселился под косогором, в орешнике, в курене старой пасеки. Вследствие этого всяк, кто проезжал по лесу торною обозною дорогою, немало изумлялся при виде обширного овечьего загона с резными окнами и — игольчатыми на углах уцелевшей крыши. Но в одну бесснежную зиму пали все овцы дедушки, и планы на улучшение печальных обстоятельств рушились. Дедушка скинул и щегольской хуторянский бешмет, синий с выпушками, как мундир у сотника, надел мерлушковый халат и из овчарного загона выстроил маленький домик. Он выстроил его на пепелище старого дома, выстроил у подножия высокого, развесистого дуба, как под сенью мирного священного предания. Этот дуб вырос из желудя, посаженного перед крыльцом старого большого дома в тот самый достопамятный день, как дедушка дедушки впервые ввел в него свою молодую стройную жену и, по тогдашней польской моде, торжественно поцеловал ее перед толпою собравшейся челяди. Желудь через много лет превратился в громадный зеленый дуб, который на тридцать шагов протянул кругом свои тяжелые плодоносные ветви, и под этими ветвями, как былинка у подножия одряхлевшего, павшего дерева, вырос скромный преемник пространных дедовских палат, низенький домик, с двумя окошечками на озеро... В древней истории домика есть еще один довольно замечательный эпизод, именно: происхождение воздушного моста к домику, у подножия холма... Воздушный мост произошел так. Устроивши свое гнездо, дедушка пустился мечтать о присоединении нового лица к своему уголку, которое бы согрело и осветило его жизнь, — задумал жениться. Вследствие этого он частенько стал переезжать узкую плотину, отделявшую часть озера и болота от холма, и появляться в тихих

домиках соседних хуторян. Соседние хуторяне также нередко стали завертывать к обладателю Черточешенского уступа. Как вдруг, в одну дождливую весну, потоки с ближних меловых пригорков хлынули на болото и перерезали глубокою водомоиною плотину под холмом. Дедушка очутился в засаде, отрезанным от остального мира. Однако же он не потерялся и задумал выстроить через провалье мост. С этою целью он приказал единственному слуге и плотнику рубить по соседству удобные деревья. Удобнейшим оказался на первый случай высокий вяз, росший у самой водомоины, и плотник начал с него. Переправился через овраг, привязал к вершине дерева веревку, к веревке коня и стал рубить дерево. Громадный вяз затрещал, рухнул, но, вместо того чтобы упасть на сторону, где стоял плотник, упал на другой край провалья и своею страшною силою перекинул через провалье лошаденку. Дедушка в это время сидел у озера в орешнике, колируя какую-то дикую щепу. Когда конь перелетел через овраг, он медленно поправил на голове картуз с утиным козырьком и заметил: «Какой это бесов сын там лошадьми кидается?» А растерянный плотник, стоя на другой стороне провалья, ударил об полы руками и заметил: «Что б было и волов привязать!» Это событие далеко обошло словоохотливый околоток. Вяз сделался с той поры мостом, через который весною, когда вода с шумом бежит по дну оврага, посетители переходят безопасно, придерживаясь за суковатые ветви, а дедушка, которого посещать стало так же легко, как брать приступом крепости, получил прозвище Черточешенского Кулика, и это прозвище, при помощи дедушкиного козырька и халата, навсегда за ним осталось...

Теперь средняя история дедушкиного домика. Средняя история дедушкиного домика обнимает только одно важное событие, именно: смерть той особы,

которая должна была сделаться его подругою, должна была согреть и осветить его жизнь. Это трогательное событие излагается в туземных преданиях с малейшими подробностями. Дедушка посватался за дочку поветового комиссара, табуны которого до сих пор расхаживают по окрестной степи. Гордый предстоящим счастьем и родством, за несколько дней до свадьбы, по старинному обычаю, поехал дедушка с своею невестою на богомолье в соседнюю златоверхую пустынь. Дорогою неописанное горе посетило его: простудившись под грозою, невеста его заболела и умерла, в виду златоверхой пустыни! Дедушка похоронил ее и вернулся домой один, без своей молодой невесты, вернулся один, с маленькою местною иконою из монастыря. Толпа соседей и родных весело поджидала его возвращения. Выйдя из брички, дедушка подошел к будущему своему тестю, который с пенковою трубкою стоял впереди всех, и, подавая ему икону, сказал: «Вот теперь моя невеста!» — сказал и тихо пошел в домик. И когда он опять вошел в домик, когда старые стены опять увидели его холостяком и сиротою, когда вспомнил дедушка овсянку — голос его задрожал, точно оборванная струна, и он заметил: «Ну, что же? опять не взяла!» — сказал и стал довольно храбро утешать родных. Без гостей, однако же, он слег в постель, раздались его глухие рыдания, и никогда уже с той поры он не мог найти прежней беззаботной мечты о счастье и о супружестве. Дедушка сдержал слово и навеки остался холостяком. Никогда более не заводил он речи о прошлом, и одно только обстоятельство напоминало знающим его о невозвратной потере. На погосте хутора, где опущена в землю дорогая особа, дедушка взял на память несколько отростков яблонь и посадил их возле своего домика. Яблони поднялись и разрослись и скоро верхушками своими стали заслонять от глаз дедушкин домик так, что теперь его

уже и не заметишь из-за их зеленолистой стены! На чугунном же памятнике кладбища дедушка изобразил следующую многозначительную надпись: «Покойся, моя бедная!» и внизу: «Боже! не отринь ее от лица Твоего!» Тихо тосковал с тех пор дедушка. Бывало, чуть вечер, он уже сходит к озеру, садится на берегу на обломок жернова и закидывает в озеро удочку. Он сидит и смотрит в светлую воду, смотрит и дожидается, когда колыхнется поплавок. Вода недвижна, и небо, как раскаленная по краям яхонтовая чаша, опрокинулось над лесом. Что же это рыба так лениво ловится? Что же это она не играет и не плещется? Но вот стекло воды дрогнуло. Туман расстилается, и тени бегут и уходят на темное дно... Дедушка смотрит: дедушкин образ, как в живом зеркале, изменяется, яснее: темные волосы змеятся вокруг лица, молодые глаза блещут жизнью и смуглый румянец сгоняет суровые морщины... Дедушка уже не в мерлушковом халате, а в военном сюртуке, молодец молодцом и красавец красавцем. А вот и еще какое-то лицо вышло, и колышется, и блещет перебегающею тенью!.. Что ж с тобою, добрый дедушка? Слезы текут и застилают глаза твои, одинокое сердце сжимается тоской, ты вспомнил светлое, старое время!

О, добрый дедушка! Не вернуть тебе светлого, старого времени, не вернуть тебе улетевшей молодости, не воскресить сокровенной страстишки твоего сердца. Спит твоя красавица в могиле, спит в белом платье и в полевых цветах, спит, и пустынный ветер гуляет над ее могилою. Задумался дедушка и не видит, что рыбка давно уже дергает поплавок, крутая волна расходится кругами и удочка скользит из ослабевших рук. «Что это с вами, барин?» — спрашивает старика работник, тот самый, который построил воздушный мост. «Э, враг бы забрал ту канальскую рыбу! — отвечает суровым голосом старик, пряча взволнованное

лицо свое. — Все удочки оборвала канальская рыба, а толку — ни на лысого деда!»

Теперь, читатель, новейшая история дедушкиного домика... Но что сказать об этой новейшей истории? Что сказать о ней? Сказать ли, как дедушка ежедневно встает, выходит на ветхое, поросшее крапивою крыльцо и любит видом владения, которое всё, как на ладони, открывается с холма. Сказать ли о том, как дедушка любит свое зелено-водное болото и сладко верит в его постоянство и красоту? И не говорите старику о других событиях; не говорите ему о счастье света за чертою его лесного уголка! Не указывайте ему синеющую полосу большой проезжей дороги, как горизонт иной жизни и иного мира, видной с вершины косогора, — дороги, по которой несется пыль бегущих и пропадающих вдаль экипажей, летят и затихают звуки колокольчиков и уносятся чуть слышные песни идущих с поля слобожан, беззаботные песни, веселые и радостные песни. Дедушка махнет рукою и горько усмехнется. Не нужно ему ваших дорог и экипажей, не нужно ему ваших колокольчиков и песен. Есть у него другого рода песни, есть у него свой неумолкаемый причудливый оркестр. Что за песни, что за звуки!.. Чуть заря и день переклонился к закату, зеленое болото, пышное болото уже заводит строй своих разнообразных инструментов. В высоком тростнике то там, то сям начинают позвякивать вразлад, как смычки несмелых еще школьников. Им, робко и так же вразлад, вторят колокольчики травников и рога далекой утиной стаи, где-то пролетающей на ранний ночлег. Но вот пронеслось черканье коростеля, валторна филина огласила холмы и перелески, кваканье миллионов лягушек встало и поднялось в болоте, и окрестность потонула в море вечерней музыки, потонула до поры, когда ясная песня одинокого соловья-ночника раздастся, сменит все и воцарится до рассвета. Среди не-

умолкаемой музыки птиц и лягушек, в виду зеленого болота дедушка создал еще особый мир друзей. У него под стать болоту был, например, недавно фаворит-петух. Иногда рано поутру дедушка, бывало, выйдет на крыльцо, переклонится через забор садика против солнца, которое начинает тихо вырезываться из-за леса, притягивая лучик белой, махровой маковине и осыпая ее пурпурными брызгами, а петух то и дело кричит с холма на озеро. Он кричит и прислушивается, кричит до того, что охрипнет и произведет такой странный звук, что сам отшатнется в сторону и долго высматривает, наставив голову так, что один глаз его смотрит в землю, а другой на крышу домика, кто это так странно крикнул. Дедушка на это тоже, бывало, слушает-слушает и пойдет в комнаты, тряся головою и повторяя: «Эка, бес-птица, как кричит! Совсем как будто и не птица, и точно кричит что-нибудь другое!» Этот петух жил очень долго и пропал неожиданно без вести; все старания в поисках его остались без успеха. У дедушки было появился тоже еще другой слуга, кроме упомянутого выше плотника, какой-то белокурый хорошенький мальчик из соседнего села, который пришел однажды зимою и нанялся на год. Должность его состояла в хождении за коровою и в топке печей. Но мальчик ужился недолго. Одна комната дедушки была снизу доверху увешана портретами предков. Раскрашенные портреты предков стали тревожить маленького истопника. Едва разложит он огонь и сядет у печки, едва поднимет голову — три ряда фамильных портретов, три ряда темных лиц уже и смотрят на него во все глаза! В первый раз от непреодолимого ужаса истопник убежал и не появлялся целых два дня; но потом догадался и раскаленною кочергою выжег глаза всем тетенькам, дяденькам, бабушкам и дедушкам дедушки. Нечего говорить, с каким триумфом был изгнан новый истопник из домика дедушки. И вот

года бегут и заменяются годами, дедушкин домик ветшает и разрушается. Нет перед его крыльцом сторожевого колокола, нет перед ним медвежонка на звучной цепи, и далекие путники редко заезжают к нему. Зато в бурное невзгодье, когда осень расстилается над омертвелым лесом, когда в воздухе бушует холодная, пронзающая стужа и крупный дождь хлещет в окна домика и сбегает по ветвям столетнего дуба, под крышу низенького домика собираются соседи и друзья дедушки... Все тут собираются в теплую, увешанную травами и безглазыми портретами комнатку. В вечернем подступающем сумраке не видно никого; все молчат, будто заснули, и только голос рассказчика тихо раздается в комнате. Кто же рассказывает? Кому внимает уютный кружок слушателей? Рассказывает дедушка...

«Жили-были старик да старуха, — рассказывает дедушка. — Вот и стала говорить старику старуха: пойди да и пойди в лес по яблоки! Пошел старик в лес, набрал яблок, а ночь надвинулась со всех сторон такая, что хоть глаз выколи, и заночевал старик в лесу, заночевал в хатке старой лесничихи. Лежит старик на лавке, лежит, а ветер так и воет, так и воет, и деревья бьются ветками над хаткой. Вот и слышит старик, кто-то подходит к окну и ударил.

— А что? — спрашивает лесничиха. — Что скажешь?

— Родилось на свете столько-то новых людей! — отвечает голос за окошком. — Какова будет их доля?

Лесничиха подумала и весело ответила:

— Доля будет легкая и счастливая!

Голос за окошком затих, и опять завыл по лесу ветер, и деревья опять забились ветками над хаткой. Не успел старик и глаз сомкнуть, кто-то опять подходит к окошку и ударил.

— Что скажешь? — спрашивает лесничиха.

— Родилось еще на свете столько-то новых людей! — отвечает голос за окошком. — Какова будет их доля?

Лесничиха опять подумала, подумала и уже печально ответила:

— Доля будет тяжкая и несчастная!

Старик чем свет схватился из хатки и вышел. „Ну! — подумал он, — попал же я к лесничихе, нечего сказать! переночевал чуть не у самой судьбы в гостях“. Оглянулся: хатки уже нет, вот точно ее и не было между деревьями, точно сквозь землю провалилась. Приходит домой — и того удивительнее: около печи коляска, и двое близнецов лежат подле жены! Ахнул старик и остановился на пороге...»

— Да впрочем, может быть, такая сказка уж страшная, что и рассказывать ее дальше не надо? — спрашивает неожиданно дедушка, оглядывая нас с улыбкою...

— Ах, нет, нет, дедушка! рассказывайте, рассказывайте! — лепечут голоса маленьких слушателей. — Совсем, дедушка, и не страшно!

(А уж где не страшно? Просто, как говорится, нас всех давно из-за плечей хватало, и в темных окнах мерещились косматые лица.)

— Ну, когда не страшно, так я буду говорить, — замечает дедушка. — Только вы, впрочем, и не бойтесь, дальше оно точно совсем уже и не страшно, и вы не смотрите на то, что пока оно может быть и страшно!

Табакерка дедушки скрипит, и кружок слушателей стесняется к столу ближе...

«Вот, — продолжает дедушка, — прошло немало лет, сыновья старика подросли и стали уже подмогою в хозяйстве. Только повесил голову старик... Близнец постарше, что бы ни делал, все делал хорошо, и работа кипела у него, как у целой артели работников. Но младшему ничто не удавалось. Куда бы ни кидался,

за что бы он ни брался, все шло комом и все валилось из рук; а работал и бился он из всех последних сил. „Нет! — подумал старик, качая головою, — ты родился не вместе с братом, ты родился в то время, как судьба назначала людям долю тяжку и несчастную!“

И решился старик еще раз попытать судьбу... Послал сыновей в лес, а сам положил на дороге, на плотине, мешок с деньгами и прилег подле в кустах, думая, что хоть обманом, а найдет-таки младший сын деньги, — найдет и подумает, что он сам их нашел и разбогател потому, что разве уже один слепой их тут не найдет. Вот смотрит старик, выходит, выходит из лесу точно младший сын, выходит и идет к плотине. Только что же?.. Дошел бедняга почти к самому мешку, оглянулся посмотреть, идет ли старший брат из лесу, прилег на плотине, прилег обождать старшего брата — и заснул... Ну а уже старший брат, разумеется, подоспел, наткнулся на мешок и поднял его. Подождал старик, как ушли сыновья домой, встал и тогда только совсем понял, что доли своей уже никак не минувешь и что, чего бы только человек ни выгадывал, чего бы только он ни делал, а уже доли своей никак не минувешь!..»

Дедушка на минуту смолкает, оглядывает слушателей пристальным взором, и снова скрипит табакерка дедушки, и снова льются его рассказы... Но вот на дворе окончательно стемнело; слуга, сверстник дедушки, опять-таки тот самый, который построил мост, вносит свечу и бережно, дрожащею рукою опускает ее на стол в кружок слушателей... И когда свеча, потрескивая и лениво вспыхивая, разгорится наконец и медленно раздвинет по воздуху мерцающий круг своего света, в этот круг одно за другим выступают из темноты лица гостей. Выступает в него и лилово-бирюзовый нос соседнего винокура, и черные-черные усы юнкера, дедушкиного крестника, и русая, подобранная

под золотую булавку коса дедушкиной внучки, сложенной над гарусным вязаньем, и огромный, в виде малахитовой печати, глаз соседнего овцевода, страстного охотника послушать и не менее страстного охотника потом рассказать о слышанном, и несколько чепцов, и несколько вытянутых при рассказах дедушки маленьких личек. Тут же рядом, захваченное полосой света, выясняется и молодое, обрамленное белокурою бородою лицо священника; он сидит в коричневой рясе, опоясанный розовым вышитым поясом, и на пальце опущенной вдоль кресла руки его блестит золотое кольцо. И ничем вплоть до ужина не нарушаются рассказы дедушки. Разве неожиданно погаснет среди страшного повествования догоревшая свечка, и пораженные слушатели после мгновенного остолбенения громко расхохочутся, да упадут с потолка на стол семечки, и чирикнет проснувшаяся в клетке птичка, которой блеск свечи покажется светом загорающего утра. История дедушки незадолго перед этим кончилась. Дедушка умер...

Случилось это очень просто. За какой-то долишко клочок земли, занимаемый болотом, был продан. Дедушка не унывал. «Ну, — думал он себе, — хоть болото теперь и не мое, а все-таки его отсюда видно, и оно точно как будто мое болото!» Дело, однако же, вышло иначе. Новый владелец купленной земли, какой-то франт и мечтатель, напустил на болото кучу землероев и механиков, очистил его, осушил, вспахал и засеял какою-то новоизобретенною немецкою травкою, которую зовут травкою-фуфаркою. Травка-фуфарка принялась, а между тем болото, в пространство и красоту которого дедушка слепо верил, исчезло, и вслед за ним исчезло и озеро, вытекавшее из болота. Дедушка было по-прежнему стал храбриться и произнес: «Ну что же? опять-таки не взяла!» — но решительно не перенес своей потери. Точно что оборвалось

у его сердца! Иногда еще, правда, он забывался и выходил по-прежнему на крыльцо с намерением взглянуть на водяное зеркало, в раме камышей расстилавшееся у холма, выходил послушать музыку — музыку птиц и лягушек, наполнявших цветущее зеленое болото... Но он тут же останавливался и закрывал лицо руками; не было более ни водного зеркала, ни камышей, ни чудной музыки природы! Тихо тосковал и угасал дедушка, слушая, как порою залетный филин садился на крышу ветхого домика и стонал, вещуя смерть. Ворчал старик и несколько раз порывался убить из ружья докучливую птицу. Но наконец махнул рукою, и филин спокойно допел свою унылую песню, когда дедушка, прислушиваясь к дремотливому лепетанию листков своих подросших яблонь, тихо покинул землю... В околотке разнесся недавно слух, будто через Теплинский лес пройдет предназначенная из слобожанских степей к южному морю железная дорога. Если это справедливо, то там, где еще недавно был маленький лесной домик и жил дедушка, лягут железные длинные нити и огненный паровоз, гремя и устилая небо дымом, полетит быстрее мысли, полетит, неся добро и пользу, и, устлав свой путь городами, игольчатыми станциями, садами, мостами, длинными трубами грохочущих фабрик и сверкающими домами новых сел, сотрет тяжелыми следами своими последние воспоминания о бедном добром старике...

ХРИСТОС-СЕЯТЕЛЬ

Жил старый и вдовый казак Наум. У него было два сына, Андрей и Иван. Наум разбогател извозом соли и торговлею скотом, выселился из родной деревни и сел невдали от нее особняком, завел в степи, у леса, свой хутор.

Люди завидовали счастьем и богатством Наума. Хата у него была просторная, крыта под гребенку камышом и раскрашена цветными разводами, двор обнесен забором. А во дворе — чего не было: телята, куры, гуси, свиньи, крепкие доморослые лошади и раскормленные круторогие волы, да не одна пара, а пар пять — как вытянутся в возах под солью, точно писанные, идут важно и тащат каждый за двух и трех.

Старик был еще в силах, но почувствовал близкий конец и позвал старшего сына, Андрея. Говорит ему:

— Ты уже женат, хозяйка у тебя добрая, имеешь малых деток, а Иван еще холост: оставляю вам наследство. Бери заступ.

И повел Андрея к лесу.

Был вечер, взошел месяц. Они достигли леса и здесь остановились на поляне, в кустах, у корявого дуплистого дуба.

— Копай, — сказал отец, — а я буду сторожить.

Андрей стал копать и выкопал чугунный котелок с крышкою. Отец поднял крышку: котелок полон серебряных дукатов, а между ними желтеют на месяце и червонцы.

— Слушай, — сказал отец Андрею, — ты теперь знаешь, где наше добро. Люди считают меня колдуном, а дело простое: все нажито моими и вашими трудами. Говорят: золото веско, а кверху тянет и что всего веселее свои деньги считать. А я скажу: трудись, паши и сей; какова пашня, таково брашно. Пес космат, ему тепло; мужик богат, ему добро. Только деньгами не чваньтесь и Бога чтите. Иван молод; когда женится и будет у него первый ребенок, отдайте часть этих денег на дом Божий, остальным и прочим поделитесь поровну и, чтя Господа, разживайтесь далее. Бог венчает труды; мал муравей, а горы роет. Я тебе, как старшему, поведал эту тайну: блюди ее и всю семью накрепко.

Котелок опять зарыли в землю и возвратились. Старик прожил еще лето, дотянул до осени и осенью помер.

Прошли три года. Андрей и Иван живут дружно, трудятся, торгуют и ведут хозяйство, как и при отце. «Вот лихой не взял колдуновых детей, — толкуют люди, — они еще гораздее отца. Все им спорится. Золотой молоток и железные ворота прокует!» Весною третьего года Иван на проводах, на родных могилах, разглядел чернобровую и румяную Ганну. Ганна полюбилась ему. Любовь — не пожар, загорится — не потушишь; Иван решил посвататься.

Миновала летняя страдная пора, поспел, был убран и обмолочен хлеб. Пошли по селам и хуторам гулянки и веселье; известно, осенью и у воробьев — пиво. На Покров Андрей послал братниных сватов к отцу Ганны, а перед филипповками справил и братнину свадьбу.

Жены Андрея и Ивана зажили мирно; по очереди прибирали хату, пекли и варили, шили и пряли, доили коров и ходили за птицею и скотом. Не налюбуются братья своими хозяйками. Так прошел еще год.

Андрей видит, что Иван все бездетен, и стало ему жаль брата. Он вспомнил завещание отца. Хочется ему утешить Ивана, разделить с ним отцовы деньги и прочее наследство и боится нарушить заповедь отца. Придумал другое. Выждал время и, когда оба они пахали, выпряг волов, пустил их на пашню и повел брата к дубу.

— Ты, Иван, добрый и мне почтительный брат, — сказал он, — и твоя хозяйка уважает мою. Скажу я тебе отцову тайну. Он нам кроме хозяйства оставил деньги. Вот у этого дуба, с этой стороны и под этим корнем, зарыт котелок с дукатами и червонцами. Говорю это тебе на случай моей смерти. Никто, кроме меня, даже моя хозяйка, про то не знает. Видишь, я тебе открылся; но делиться мы до срока не можем — отец положил зарок.

И он рассказал брату этот зарок. Иван поклонился Андрею в ноги. Говорит:

— Спасибо тебе, что ты мне доверил; другой на твоём месте утаил бы такое наследие; вижу — настоящий ты мне брат. Может быть, ожидать нам уже недалеко — соблюдем волю отца.

Иван говорил от сердца. Как сказал, так и поступил; не настаивал на разделе отцова наследства, продолжал трудиться вместе с братом, но не утерпел обрадовать жену. Был Иван с нею на ярмарке. Видит, что все, даже последние, завалящие мужичонки снуют у красных товаров, женам покупают наряды. Иной и в вешний день как обгорелый пенёк — ни хижи, ни крыши, пыль да копоть, что нечего и лопать, а тоже на последнюю полтину тащит жене обновку. Тот красную плахту, этот коралловое монисто, цветные сапоги либо платок.

И взяла Ивана досада. В тот год был неурожай, скот дешёв, и все обратно гнали домой непроданный товар. Где тут было просить у брата денег на наряды

жене? Андрей же и с своею хозяйкою был на это скупенек, говоря в шутку: «Лучшее ожерелье — женино смирение!»

— Не тужи, — сказал Иван дорогою хозяйке, — будут и у нас деньги; тогда все тебе куплю, будешь как писаная краля. Пойдем на богомолье, отслужим молебен, и Господь нам даст детей. Дети — благодать Божья; у кого их много, тот не забыт от Бога.

Ганна и без того в последнее время была сама не своя, а тут совсем задумалась: на что это намекает муж? Дело не простое; у него что-нибудь особое на уме. Она стала допытывать мужа; он не сдается. Но когда они сходили на богомолье и возвращались домой через лес, Иван, будто от усталости, присел под дубом, заставил жену побожиться, что она никому не выдаст его слов, и не только рассказал ей завет отца о кладе, но и показал ей самое место, где клад был зарыт. Жена от радости заплакала и всеми святыми поклялась, что никому не откроет сообщенной ей тайны.

С той поры Ганна повеселела и еще более стала угождать мужу и семье брата. Ранее других встанет, позже всех ложится спать. Копает в огороде — поет; треплет кудель или по колена в воде моет белье — голосистая песня не умолкает. Люди говорят: «Андреева баба — молодец, а Иванова и того лучше; никто против нее не смолотит и не сожнет; по их хутору и по их земле Бог походил».

Было о петровках. Стояло грозное лето. Тучи сходились, застилая небо. Раздавались раскаты грома и падали обильные, благодатные дожди. Хлеба зазеленели на диво. Травы стояли по пояс. Вздорожал скот, овцы и всякая живность. Братья погнали на ближний торг старых коров и лишних овец и отлично продали. Решили — и на другой, более дальний торг погнали откормленных за зиму волов. С ними по пути поехала и Андреева жена — показать знахарю больное дитя. Дома осталась одна Ганна. Она управилась по хо-

зайству, уложила Андреевых детей спать и сама легла. Не спится ей. Смутные мысли проносятся в голове. Лесной клад не выходит из ума. Ганна вышла из хаты, постлала зипун у порога и легла. Свежее на воздухе. Ночь темная, тихая. Все небо усеяно звездами; то и дело они золотыми искрами сыплются с неба на землю. «Точно червонцы!» — подумала Ганна, накрывая зипуном голову, чтобы не видеть этих падучих огней, этого непрестанного сверкания. «Нет, то — Божий терем, — думает она, — звезды — окна, и через них ангелы вылетают на землю!»

И вдруг она вздрогнула, не понимая, во сне или наяву она испытывала то, что потом с нею случилось. Ганна подумала: «Зачем Ивану делить клад с Андреем? Иван лучше Андрея: так красив и добр, а уж любит меня... Завладеем сами отцовским богатством; не даром все смеются, зовут нас скопидами; покажем людям, как следует жить, да муж еще и более полюбит меня». Она вспомнила, куда поставила заступ, взяла его и, не обувшись, на босу ногу, пошла в лес.

В лесу было тихо и темно. Ганна отыскиала поляну и дуб, стала рыть у его корня, а руки трясутся, едва держат заступ. Поборола она страх, выкопала котелок и заровняла землю, даже травой прикрыла то место, где он был зарыт. Открыла крышку, тронула под нею рукой и обомлела; котелок действительно был полон денег. «Ну, куда же с этим теперь? — стала думать Ганна. — Дома не спрятать, не уберечь; кинутся, отыщут и все отберут». Она прошла в глубину леса, исколола ноги и руки и, разглядев при мерцании звезд суховерхую, далеко с поля всегда видную липу, зарыла под нею котелок. «Теперь не найдут!» — подумала Ганна и ушла, оглядываясь, чтобы получше запомнить выбранное место. Пришла домой, поставила на место заступ, легла у порога и заснула.

Долго ли Ганна спала, она не помнила и даже ясно не сознавала, спала ли здесь в ту именно ночь, когда

сходила в лес, или это было спустя несколько времени, только слышит, над нею говорят. Тихо повернула она голову: видит, будто светает, и возле нее лежит противившийся с торго Иван, а к нему нагнулся, будит его и ему что-то тихо и испуганно говорит бледный и на себя не похожий Андрей.

— Что тебе? — спросил его проснувшийся Иван.

— Как что? Большое горе.

— Какое?

— Отцов клад украли.

— А ты почему знаешь?

— Ходил поверять; стащили.

— Кого поверять?

Андрей молчал.

— Не я украл! — проговорил Иван.

— Кто же?

— Не знаю.

— Слушай, Иван, — сказал Андрей, — кроме тебя, никто про это не знал и не знает, покайся, укажи, куда ты деньги снес, я тебя прощу.

— Не я украл, боюсь.

— Нет, ты.

Иван вскочил. Ганна, ни жива ни мертва, лежала, боясь шелохнуться и выдать себя. Кругом еще более посветлело.

— Так я — вор? — спросил Иван.

— Да, вор, — ответил Андрей, — и если ты не признаешься, не скажешь — конец тебе.

Иван бросился на брата; а у того в руках нож. Ганна заметила лезвие ножа, увидела искаженное злобою лицо деверя и обиженное лицо мужа, хотела крикнуть им, сознаться во всем и не могла произнести ни слова. Над нею в сумерках началась немая, страшная борьба родных братьев. Ни криков, ни стонов. Теплая кровь закапала на лицо Ганны.

Она очнулась. Видит — давно наступило утро; мычат в хлевах коровы, отзываются телята и овцы, просясь в поле. Ганна вскочила, оглянулась по двору, бросилась в хату и тут поняла, что ей привиделся сон: клада она не вырывала и Андрей с Иваном еще не возвращались домой.

«Так это был сон? — подумала, крестясь, Ганна. — Сон — смерти брат; но хоть грозен сон, да милостив Бог». И принялась опять за свое дело. Братья возвратились. Жизнь на хуторе пошла по-прежнему. Не по-прежнему только на душе Ганны. Ее не покидала мысль о сонном видении. «Что бы это значило? — рассуждала она. — Недаром такое привиделось. Сон правду скажет, да не всякому. Или я ступила в чужой, лихой след, или до утренней зари посмотрела в окно? Брат кинулся на брата... пустяки! Они так дружны; из-за денег не схватятся за ножи». И стала она думать-думать, поглядывая в поле, на лес. Байрак пожелтел; с него осыпались листья. Наступила зима. Снег занес поле, завалил сугробами оголенные деревья и кусты.

Весною Ганна сходила, будто за ландышами, в лес. Поляна около дуба уже зеленела; земля у его корня не была рушена. «Все цело, — успокоилась Ганна, — будь что будет; и то правда, лучше подождем. Да и что богатство! Богатые на том свете голыми руками каленные пятаки считают!»

Наступила небывалая жара. Люди с тревогою поглядывали на небо, напрасно ожидая дождя. Небо было безоблачно. Зной стоял неугасимый. Растрескалась земля; все увядало и сохло. Иван и Андрей с женою пахали под озими в поле. Ганну оставили дома варить есть и доглядать детей. Она с осени недомогала; все ей было как-то тошно и не мило: она то вздыхала и молилась, то плакала и от слабости едва ходила. Андрей, глядя на нее и на брата, думал: «Ну, теперь уже, кажется, и вправду не долго ждать».

Был обеденный час. Ганна выглянула в окно и не узнала выгона. Небо потускнело. Облаков и туч не было видно, но в воздухе стояла какая-то мгла, сквозь которую туманом синел чуть видный лес. Ганна вышла из хаты. Слышит, куры кудахчут; видит, воробьи купаются в пыли. Думает: «Слава те, Господи, к дождю; недаром небо было красно до зари». Она накормила Андреевых детей, прибрала посуду, налила в чистый горшок горячего борща, нарезала хлеба и все увязала в платок, чтобы нести в поле. Обулась, сказала детям: «Сидите же смирно, пока возвращусь» — и вышла с узлом в сени. Тут она увидела в углу заступ и замерла. «Сон, сон!» — подумала она, не помня себя от страха и мучительной, ей самой непонятной радости. Отворив дверь в каморку, она ткнула туда узел, схватила заступ и без оглядки пошла к лесу. Идет как на крыльях.

Идет, а навстречу ей из-за леса подымается и растет темная, грозная туча, мигает голубыми и алыми молниями. «Пойдет дождь, меня не спохватятся, — думает Ганна, — успею откопать и зарыть, и в иное место». Уж она над деревьями завидела маковку старой суховерхой липы. Ганна подошла к лесу. Огромная дождевая капля упала ей на лицо.

Тут откуда-то вырвался и взыгрался страшный вихрь. Раздался оглушительный удар грома. Все завертелось в пыли, сорванных листьях и сучьях: поле, травы, лес и сама Ганна. Она видит, что заступ выпал у нее из рук и ее, как былинку, несет куда-то высоко-высоко, с листьями и сучьями, что-то белое, туманное и гремящее непрерывными раскатами грозы. Она с ужасом поняла, что ее подхватил налетевший полевой вихрь. Ни молиться, ни думать от страха она не могла. Взглянула вниз — земля чуть видна; кругом облака, молнии, а гром ревет и стонет.

Вихрь унес Ганну на небо.

Облака рассеялись. Выглянуло солнце. Поверх облаков — другая земля. Зеленеют травы, а по свежей пахоте ходят какие-то старцы. Ганна очутилась возле них и поняла, что впереди — сам Господь Христос, а за ним апостолы Петр и Павел и угодник Божий, победоносец Юрий. Удивилась Ганна: Господь Христос в сером зипуне, простоволосый и с лукошком через плечо. Иисус брал горстью зерна пшеницы и сеял; Петр ему подсыпал из мерника, а Павел и Юрий, ведя сзади волов, бороили следом землю.

И увидел Господь Ганну и позвал ее. Та упала ему в ноги.

— Господи, Иисусе сладчайший, — решила, не смея глянуть на Спаса, проговорить Ганна, — вижу твое чудо, я на небе; но зачем ты меня, грешную и глупую рабу, взял с земли, от мужа и близких, в твое высокое царствие?

Раздалось властное слово:

— Чтоб ты видела все.

— Но, Боже милый, Боже правый, — проговорила Ганна, — я грешными мыслями мыслила, что твое царствие в вечном сиянии солнца, что ты на престоле облачном, в венце из звезд и в одежде из утренней и вечерней зари; а ты в простом зипуне и, как убогий пахарь, сеешь землю. Тебе служат ангелы и апостолы — не тебе ли быть в вечном достатке и нас, всех бедных, сделать богачами? Мы бы тогда не работали, жили бы на покое и вечно прославляли бы имя твое.

Прозвучала тихая, милостивая речь.

— Рабыня добрая, но малосмысленная! Богатому сладко естся, но плохо спится. О деньгах не думай; когда деньги говорят, тогда правда молчит. Нет выше благодатного земельного труда. В нем, после молитвы, все спасение и все счастье на земле. Трудись и тому же учи своих детей.

— Но как же, как же? — взмолилась в слезах горестная бабенка. — Муж у меня хороший человек, но

денег у нас мало; все, что наживается, идет на хозяйство; дом, как яма, никогда не наполнишь; у меня же, Боженька, ни шелкового платка, ни добрых кораллов, ни красных сапогов. И мужа до сих пор не слушают на миру...

— Все вырастет из земли от ваших рук, — прозвучал ей ответ, — будет колос, будет и голос.

Ганна слышит: опять взыграл вихрь. Она подняла голову. Видит: она сама лежит ничком на поляне, у дуба. А над лесом, гремя и сверкая молниями, в небо уносится белотуманная туча, и от той тучи, как от кадилоного дыма, идет благоухание по всему лесу.

Ганна встала. На том месте, где был зарыт клад, рос спелый и сочный, несмотря на засуху, пшеничный колос. Ганна все передала мужу и привела его сюда. Иван, сорвав колос, сообщил о случае с женою Андрею. Братья подумали и решили отдать клад на помин отца, целиком на бедных и на церковь.

В их селе и доныне показывают иконостас, на диво расписанный на их жертву. Ганне вскоре после того, когда с нею было видение, Господь дал сына, и родители назвали его Богданом. От найденного колоса пошла в той стороне пшеница-усатка, какой дотолé и не видывали. Урожай всех хлебов вышел диковинный, и обрадованные братья накупили женам всяких нарядов.

СТРЕЛОЧНИК

(Святочный рассказ)

На одной железной дороге жил стрелочник, отставной, уже пожилых лет, но еще бодрый солдат Емельян. Его стрелка была в поле, в конце выезда из большого города. Он помещался в ближней сторожке, с женою Ариной и с подростком-сыном Васей, веселым и шустрым мальчиком. Емельян женился лет семь назад на молодой, работающей бабе и служил, вообще, исправно. Прежде он сильно пил, но, женившись и получив хорошее место, одумался, а с недавнего времени опять втайне начал выпивать, и не то чтобы с горя или возвратился прежний запой, а так — попробовал на радости, потом для компании, да и пошел куликать.

Жена в страхе стала уговаривать его.

— Стыдись, — говорила она ему, когда он, бывало, опять опомнится, — жалованье пропиваешь, пропьешь скоро вовсе и совесть!

— Мне что, — огрызался Емельян, — шутка ли? Господь сына на старости дал, да какого! Вырастет, будет молодец, прокормит и тебя, и меня.

— А, не дай Бог, во хмелю спутаешь стрелку? Великому горю быть... Сколько погубишь невинных душ!

— И видно, что баба дура, — отвечал Емельян, — нешто видела, чтобы я хмельной да осмелился когда к стрелке стать?

Жена со страхом рассказывала куме, кухарке городского лекаря, что Емельян иной раз, после запоя,

говорил несуразные вещи: то он видел в сторожке множество змей и жаб, будто бы ползавших кучами по полу и по окнам; то ему казались противные, как мыши, бесенята с рожками во всех углах и за печью, и он, просыпаясь, плевался и отгонял их, точно мух. Временами Емельян брался за ум и не касался до чарки, особенно если никто из товарищей не подвертывался ему и его не соблазнял. Он усердно посещал церковь, был грамотный, с чувством читал в часы раскаяния жития святых и тем, хотя отчасти, сдерживал себя.

Васе пошел шестой год. Еще красивее стал вертун: румяный, кудрявый, черноглазый. Все им любовались. Арина ходила в город прачкой, поденно мыла белье в хороших домах. Она справила на свои заработки Васе картуз и козловые сапожки на высоких каблуках. Емельян посмотрел, подумал: «Опередила баба» — и купил сыну на базаре красную шерстяную рубашку и плисовые шароварцы; не мальчик вышел — сущая картинка! «Разве в сапогах дело? — думал он. — Походил бы и босиком, а в рубашке — настоящий купеческий дворник».

Перед Спасом Емельян был не на очереди. У кабака он увидел своего кума, дистанчного десятника, угостил его — и сам нарезался. Загорелась в нем опять жажда к водке; казалось, море бы выпил; только он пересилил себя. Хотел было закурить трубку, но увидел, что забыл дома табак. Пришел к вечеру в сторожку; жена стряпала в печи. Набил он трубку, напустил табачища в сторожке и давай куражиться над хозяйкой.

— Мой сын! — сказал он. — Любуйся! Не видать бы тебе, глупой, без меня такого!

— Такой же твой, как и мой, — отвечала жена, с досадой глядя на его хмельную рожу, — обоим Господь послал.

— Нет, мой!

— Нет, наш — обоих.

Емельян обезумел. Искры завертелись у него в глазах.

— А! Так вон оно как! — крикнул он в злобе. — Надо мной похваляешься? Вон из моего дома! Чтобы и духу твоего тут не пахло.

— Да за что же, Емельян Мосеич? Слыхано ли?

— А за то... Я голова всему, я! Скомандовал и — проваливай.

— Но куда же мне против ночи, подумай?

— Куда знаешь, мало ли в городе у вашей братии углов.

Обиделась Арина, в слезы.

— У полицмейстерши, — говорит, — все намеренны помыли; у лекарши еще через два дня главная стирка, теперь только постирушка детям, куда мне, постыдись, в такую темь?

— Вон, чертова голова, не перечь, — затопал ногами Емельян, — не уйдешь с глаз долой, поленом выгоню, искалечу в труху.

Пуще заплакала Арина; видит, ничего с окаянным не поделаешь. Отерла слезы, увязала в узелок одежку, заслонила печь, взяла краюху хлеба, перекрестила спавшего в уголке Васю и пошла в город.

«Так ей, сатане, и надо! — подумал Емельян, усевшись у дверей сторожки и глядя в темноту, вслед за женой. — Тоже, лапотницы, важничают! Взял ее в лаптях да в дерюге; теперь в ситце стала ходить; начальствовать, вишь, затеяла, укорять. Не усмири, не притопчи бабу — верх возьмет. Давно пора! Опостылела! А мы и сами сына вырастим, сбережем!»

Настала ночь... Хмель сильнее стал разбирать Емельяна. Впотьмах мимо него гремели товарные длинные поезда, пыхтели закоптелые трубы, сыпались искры и свистели горластые свистки. Он курил, глядел перед собой, и вдруг ему жутко стало: впоть-

мах ему опять померещились разные чудища, а при этом, как живой, привиделся изможденный некий преподобный старец с длинной седой бородой, о котором он недавно вычитал в житиях святых. Он вспомнил, как этот страстотерпец — угодник Божий — спасался в аравийской пустыне и как к его пещере подошел ночью кто-то из пустыни и стал молить его сдвинуть камень от входа. «Впусти меня, — молился плачущий голос, — пусти, старче, лев рыкаяй гонится за мной, хочет разорвать; я без одежды на холоде и три дня без еды». Старец засветил лампаду, отодвинул камень; вошла женщина неописанной красоты. То было, как помнил Емельян, видение. Старец зажег хворост и стал палить свою руку на огне; кожа трескалась, сукровица и жир капали на угли, смрад наполнил пещеру, но преподобный молился — не прикоснулся к гостю. Белолилейный ангел явился тут в тумане, вывел гостью — то был дьявол — и спас старца.

— Чур меня, чур! — шептал, вспоминая это видение, Емельян. — И меня тянуло и тянет... не пойду, не стану пить!

Он перекрестился.

«Вырастет Васька, — рассуждал он, — обучу его грамоте, а кум-десятник пристроит его на правленский счет в дорожное училище. Станет он человеком. Да, не бабе-дуре оборудовать такое дело, нашему только брату, потому к нам, за наши заслуги, благоволит начальство. Станет Васютка слесарем, кочегаром, а далее — и машинистом, будет водить поезда и за мои хлопоты доглядит отца до кончины дней. Что мать? Молитвам только выучила сына... оно ладно, да не прокормит...»

Емельян вздохнул.

«А надо правду сказать — как он, постреленок, ловко за нею молится, всякие молитвы знает: от несчастий разных, от злого случая и тяжелой, неожиданной беды. Выучила сына, а все-таки, треклятая баба, мужа пья-

ницей зовет, не уважает, озорница... А какой я пьяница? Из всех слуг первый и главный слуга! И теперь вот хочется выпить, да не пойду... Руку на костре сожгу, как тот преподобный, а уж в рот — ни-ни...»

Емельян собрался в сторожку спать, да глянул по направлению к городу. Издали, через дорожное полотно, как красный глаз, еще светилось окно в крайнем городском кабаке.

«Видно, еще рано; у кабатчика гости, и все, должно быть, наши! — подумал Емельян. — Пойти разве так, назло жене, — только поглядеть. Пусть плачет, чертова баба! Обвинила, хоть не даром же слушать бабьи укоры».

И он опять пошел в кабак. А там и впрямь были все свои — смазчик вагонов, кривенький соседний стрелочник из матросов и сторож при дровах. Он выпил с ними четвертку и другую. В кабак завернул и главный из общих их приятелей, весельчак и пьяница — вахтер с водокачалки. Все, в ожидании службы с утра, опорожнили еще по сороковке и по другой, и, когда разошлись, Емельян уже не помнил, как он добрел в свою сторожку. Ему грезились жабы, змеи и аравийская пещера, где уже не красавица, а он водкой соблазнял старца. В ужасе он искал слов молитвы — и не находил.

На заре его разбудил голос Васи.

— Тятя, тятенька! — повторял на все лады мальчик, теребя его за рукав. — Твоя очередь, старшой кликает давно!

Емельян вскочил, стал протирать глаза. Утро только что начинало брезжить в окна сторожки. Как ни трещала голова Емельяна, он умыл Васю, причесал его, обул, одел и накормил вчерашней кашей. Но все это у него плохо выходило; непривычными к дитяти руками он и рубашонку его облил водой, и больно гребнем дергал его встрепанные волосы, и насилиу ра-

зыскал под лавкой и напялил ему на ноги сапожки, а все-таки остался доволен, что обрядил сына.

— Так-то, — сказал он себе, вспоминая, как с вечера прогнал жену, — не провалюсь! И без бабьего духа все как следует наладим!

Он заставил сына прочесть молитвы.

Вася прочел «Отче наш» и «Богородицу» и стал проситься поиграть с деревенскими ребятами в ближний березовый лесок.

— Да чего ты там не видел?

— Галчата, тятенька; на березе целое гнездо!

— Зачем так рано?

— Ребята рассказывают, что теперь они одни — матки в разлете за едой... Пусти; галчата прежде были махонькие, голенькие, а теперь вот какие, в пере.

— Ну, иди, Бог с тобою! — объявил Емельян. — Только не лазь на дерево — еще оборвешься; собак тоже берегись; не забодали бы коровы в лесу...

— Вона! Не боюсь!

Васька побежал в поле. На дворе посветлело, хотя над полем и окраинами города был еще туман. Поверх тумана блеснула маковка соборной колокольни. Емельян вспомнил, что он ставил сына на молитву, но не молился сам, и, сняв шапку, уже повернулся было на восход солнца, но ему почудился где-то в поле сигнальный свисток.

— Помолюсь после! — решил Емельян и, застегиваясь, бросился к стрелке.

Справа забелело облако дыма, и стал виден вдали медленно подходивший из-за пригорка товарный поезд. Прямо против стрелки, по другой бок чугунки, шлепая по грязи, двигалось городское стадо коров, за ними, врассыпную, овцы; еще далее, проселком, тащились телеги с кладью и одинокие пешеходы.

«Куда им всем до чугунки! — подумал Емельян, потягиваясь и разминаясь с трубой у стрелки, на

утреннем холодку. — Все одно что бабе до солдата! Загудит, загремит — и всех их обгонит наш кормилец — скороход!»

За дорогою, над березами, поднялась стая галок. Емельян вспомнил о Васе и галчатах.

«Маху дал, — подумал он, — отпустил сына к ребятам; не напроказил бы чего — будет от жены! Ну да ладно; пропущу товарный, отзову его».

Слева тем временем нежданно послышался другой, более сильный свисток. Емельян удивился, воображая, неужели время уже подходить от города ско-рому, курьерскому поезду?

«Проспал во хмелю!» — с досадой подумал Емельян.

Издали в тумане слышались, перекликаясь, трубы ближайших к городу стрелочников. На их сигналы отозвался и кривенький, соседний Емельяну, стрелочник-матрос, бывший ночью в кабаке; затрубил о свободном пути и Емельян, а сам зорко смотрит влево, за ближайший мост: вот-вот, с немцем-машинистом, выскочит из-за холма на мост утренний курьер.

Громыкнули слева, еще в туманной дали, тяжелые колеса и скрепы поезда, выдвинулся грузный, троеглазый паровик, и длинным змеем, по насыпи, стала приближаться вереница вагонов. Дым валил из черной трубы и стлался над дорожным полотном и его откосами. Стало слышно пыхтение широкотрубного американского силача-паровика.

Но опять, видимо не по положению, оттуда же, слева, повторился свисток и другой. Емельян ухватился за рукоятку стрелки.

«А, понимаю! — подумал он. — Меня завидел и распознал глазастый немец-машинист; полагает: не выпил ли я? Врешь, не собьюсь. Вижу все как на ладони; вон справа подходит товарный, с углем; ему — одна дорога, а тебе — другая...»

Тревожные свистки, однако, не унимались. Поезд слева летел по насыпи, не убавляя хода.

«Что за оказия? — подумал, теряясь, Емельян. — Дает сигналы, а тормозить не успеют, да и зачем?»

Он глянул вдоль дорожного полотна и замер.

Товарный поезд также несся к березам. Там, где деревья за стрелкой разошлись и к ним из-за пригорка приближался товарный поезд, машинист с курьерского, очевидно, заметил на рельсах что-то живое, не то овцу, не то человека, потому и давал свистки.

— Да что же это? — вскрикнул Емельян, не помня себя. — Господи, Господи!

На полотне дороги, между двух на полном ходу близившихся друг к другу поездов, он увидел что-то красное, точно лоскут кумача несло по рельсам и поддувало ветром. Емельян в ужасе узнал красную рубашку Васи.

«Беги, беги в сторону! — хотел было он крикнуть сыну и не мог. — Нет, он еще испугается, споткнется и попадет под колеса! — пробежало в мыслях Емельяна. — Но как спасти его, как?»

Оставалось одно средство — повернуть стрелку и направить курьерский поезд по другому пути, навстречу набегавшему товарному.

«Столкнутся, будет крушение, великий грех! — колебался Емельян. — Да что же? Сын ведь! Единственный сынишка...»

Оставалось полминуты... Емельян уже налег было ногою на стрелку. Курьерский поезд гремел слева, в ста шагах, перебегая невысокий каменный мостик, за которым, у насыпи, стоял Емельян. Дым от подходившего справа товарного застилал березы и рельсы, среди которых все еще мелькала красная рубашечка Васи. Ребенок наконец сам, очевидно, понял угрожающую ему беду. Он на мгновение остановился, бросился вправо, бросился влево и, второпях зацепясь за шпалы, упал ничком прямо на рельсы.

— Отче, Пресвятая Богородица!.. Ариша! Где ты? Прости, касатик, молись! — прошептал Емельян.

Оставалась секунда...

Белый как полотно Емельян вытянулся и подумал: «Будь что будет... всем ли погибать за одного?» — и, придерживая стрелку, остался неподвижен.

Курьерский поезд помчался мимо товарного. Крик ужаса раздался на обоих паровиках. Цепь вагонов, в дыму и выпущенном паре, налетела на то место, где среди рельсов припал комочком Вася.

Пар свился в облачко, поднялся, протянулся и, словно белолилейное легкокрылое видение, понесся в воздухе.

Оба поезда, разминувшись, остановились. Емельян бросился туда. Он бежал, не переводя духа и стараясь не думать о том, почему остановились вагоны и соскочившие с поездов кондукторы и кочегары столпились у откоса, как бы рассматривая что-то, лежавшее на земле.

— Где он, отцы родные, где? — крикнул Емельян, добежав до насыпи. — Пустите, соколики, дайте взглянуть... убит?..

«Раздавлен до смерти, в куски! — думал Емельян, карабкаясь на откос. — Аринушка! Не жить мне теперь... Одна пьянице дорога — в омут!»

Емельян, обрываясь и падая по зеленому откосу, взобрался на насыпь. Бывшие там расступились. Среди них, на корточках, с галчонком в руке, сидел, тараща глаза и плача, измаранный грязью Вася.

— Жив, жив! — крикнул Емельян, подбегая к сыну и подхватывая его на руки. — Сыночек, сын мой!

— А коли и вправду ты ему отец, вот на что гляди, — сказал старичок-кондуктор с курьерского поезда, — эва, как его укоротило!

Емельян опустил сына наземь, посмотрел — Вася и впрямь стал будто короче на вершок.

— На каблук гляди, на каблук! — кричали стоявшие кругом.

Емельян опять приподнял сына, осмотрел его — и упал на колени. Он стал молиться, кладя земные поклоны. Вася был невредим. Целый поезд пролетел над ним, не придавив его. Колесами вагонов на его ноге отчахнуло только, точно ножом, один каблучок, сорвав часть сапожного задника. Все дивовались и ахали.

Поезда засвистели опять, загремели и разошлись. Долго Емельян не мог опомниться. Он смотрел вдоль дороги, крестился и шептал молитву.

— Она тебя спасла! — проговорил он наконец, взяв сына за руку.

— Кто, тятя? — спросил мальчик, всхлипывая.

— Материнская молитва! Больше никому... Отстоим очередь, пойдем к маме в город.

— Нет, тятя, меня сдвинуло что-то белое... я упал, а оно, точно дым, навалило — и отпихнуло меня.

Емельян пошел с сыном к старшему — проситься в город. Вася бежал рядом с ним, держа в руке оравшего галчонка.

— Эх, Васютка, неладно, — сказал отец, — зачем мучишь божью тварь?

Сын удивленно посмотрел на отца.

— Пусти его на волю, — сказал Емельян, — пусть живет и за нас, грешных, Господа славит.

Вася пустил галчонка. Тот полетел в кусты. Емельян не спускал глаз с неба. Ему казалось, что над кустами и полем не переставал парить белолилейный крылатый ангел.

У лекариши стрелочнику сказали, что его жена кончила постирушку и пошла на реку. Он застал Арину на городском плоту. Кругом мыли белье и тарантили во все горло другие прачки. Он прямо к жене.

— Прости, Аринушка, — сказал Емельян, кланяясь ей в ноги при всех, — был на свете старый пьяница

и баловник, загуливал и не по правде жил; пойдем молебен править, ты своими молитвами спасла сына, спасла и меня.

Все в городе узнали о чуде над Васей. Но случилось и другое чудо. С той поры Емельян хмельного не пьет и в кабак даже с товарищами не ходит. В сторожке, у образов, он поместил новую икону. На ней изображен в белой ризе крылатый Георгий Победоносец, на коне и с мечом, над поверженным дьяволом. Когда Емельяна спрашивают, откуда он взял этот образ, он отвечает:

— Ходил на богомолье; человек слаб, а в одном Боге и его угодниках — *сила в борьбе против окаянства и зла.*

ШАРИК

Жил в Москве бедный портной, еврей Айзик Шмуль. Трудолюбивый и выносливый, он проводил с семьей целые дни впроголодь, копаясь от раннего утра до поздней ночи в подвальной конуре над разным носильным хламом, который брал от рыночников и небогатых людей в починку, переделку и перелицовку.

Работал он без вывески. Исполняя заказы, ходил с конца в конец Москвы за деньгами, в одном и том же сильно поношенном сюртучишке без нескольких пуговиц, в пестрых узких брюках и в помятом цилиндре, похожем более на воронье гнездо, чем на шляпу. От одежды Шмуля постоянно почему-то отдавало странным запахом, напоминавшим запах жареного рябчика. «А, рябчик уже тут!» — говорили себе заказчики, заслыша в передней робкое переступание худых ног портного, обутых в истоптанные, с искривленными каблуками ботинки.

Большие, черные, постоянно унылые и как бы заплаканные глаза Шмуля с жадным вниманием устремлялись на руки входящего заказчика, а длинный мясистый нос и толстые безусые губы при виде вынутых денег освещались блаженной улыбкой, и весь он, с принесенною в черном чехле работой, отвешивая низкие поклоны, как-то судорожно дергался сверху вниз, точно у него силой отнимали эту работу, а он боролся, увертываясь и не выпуская ее из рук.

— Отчего, Шмуль, у тебя постоянно такие унылые глаза? — спрашивали портного заказчики.

— У бедного еврея печаль, — отвечал он со вздохом. — Чего ему радоваться и веселиться?

— Но почему же?

— Еврей иначе не может смотреть на свет за неправду, как с печалью, презрением и скорбью.

— А почему от тебя рябчиком пахнет?

Шмуль краснел как рак.

— Барин шутит, — отвечал он с гордым недоумением, оглядываясь на свою одежду. — Бедный еврей, может, давно не только рябчика в глаза не видел, но и ничего не ел.

В окраинах Москвы свирепствовала повальная оспа. Заболела жена и двое детей Шмуля. Жена умерла; дети-близнецы, сын Иоська и дочь Ривка, выздоровели, но их лица до того были разрисованы оспой, что казались тёрками, на которых трут редьку и хрен. Сильно горевал и убивался портной, схоронив жену. Жить стало еще тяжелее. Детям шел пятый год. Надо было ходить за ними, обшивать их, чесать их всклокоченные курчавые головы, варить им лапшу на молоке и в то же время не разгибать спины над заказами. Работа валилась из его рук. Голодал еще более Шмуль с детьми. Голодал и выкормленный покойною Суррой вихрастый, с кривыми лапами пес Шарик.

Эту собаку жена портного однажды осенью нашла под Москвой на огороде, куда ходила с корзиной за покупкой дешевых остатков капусты и картофеля. Услыша тихие жалобные стоны из канавы, поросшей травой, Сурра подошла и увидела в траве свернувшуюся в жалкий комок и дрожавшую от холода, голода и увечий собачонку. «Злые люди били тебя, видно, насмерть, — подумала Сурра, — и бросили сюда издыхать, но ты еще жива и будешь жить!» Она подняла собаку. Та еле двигала искалеченными ногами; с бо-

ков ключьями висела шерсть. Взяв собаку в корзину, портниха принесла ее домой, накормила, а вечером, когда купала детей, сварила щелок и для собаки, бережно вымыла ее и уложила в подвальный чулан, прикрыв ее старыми рогожами.

Долго Сурра носила в чулан собаке тайно от мужа есть и пить. Шмуль не любил собак, говоря, что от них, обжор, кроме блох, никакого нет толку. Портниха размышляла: «Выздоровеет бедный пес, наберется с силами, тогда выпущу его на волю; кто-нибудь сжа-лится над ним и возьмет его себе... Бывают красивые и из уличных: может быть, и это такая». Собака по-немногу оправилась, вылезла из-под рогож и в отсут-ствие портного была выпущена — размяться и побродить на дворе. Сурра взглянула на нее и увидела, что о красоте найденной собаки нечего было и думать. Острая, с торчавшими ушами морда и кривые креп-кие лапы ее с первого взгляда напоминали как бы не-что, похожее на таксу. Но неуклюжий, с глупою зако-рючкой хвост, а вместо черных глаз и гладкой черной, с желтыми подпалинами шерсти такс длинные лохмо-тья какой-то буро-лиловой шерсти и разномастные — серый и голубой — глаза найденной собаки прямо указывали на ее происхождение от простой и самой заурядной дворняжки.

Оправясь от увечий, собака, впрочем, оказалась весьма веселой и резвой. Она стрелой носилась за Суррой и волчком вилась у ее ног, когда та ходила в лавочку или во дворе развешивала белье. За эту весе-лость и резвость портниха назвала его Шариком. Как-то Сурра обронила на улице сверток с покупкой. Ша-рик поднял его и принес в зубах за хозяйкой.

— Что это? откуда уродина? — спросил Шмуль, увидев впервые эту собаку, беззаботно прыгавшую за Суррой.

— Шарик, — ответила, смутясь, жена.

— Шарик — ну и пусть Шарик, а откуда он и зачем? — настаивал Шмуть.

Портниха объяснила, как, где и в каком виде она нашла его.

— Он, представь, и поноску носит, — прибавила Сурра, стараясь так или иначе смягчить мужа.

— Поноску? вот что! — сказал Шмуть, недоверчиво разглядывая собаку, которая, в свой черед, пристально глядела ему в глаза.

— А ну! — произнес портной, бросая через решетку в сад свою шапку. — Пиль!

Шарик кинулся кубарем в калитку и притащил из сада шапку. За шапкой были туда брошены платок, хлебный сухарь и говяжья кость. Все это Шарик также нашел и принес.

— Держи его, закрой ему глаза, — сказал портной жене.

Он вынул из кармана копейку, поплевал на нее, швырнул ее в траву, на конец двора, и крикнул снова: пиль!

Шарик сначала не понял, в чем дело, и смотрел, склоняя то одно, то другое ухо, в разные стороны. Слыша повторения приказа и видя, что в его услугах по-прежнему нуждаются, он, обнюхивая землю, кинулся было в сад, исколесил его несколько раз вдоль и поперек, возвратился и с высунутым языком, недовольный поисками, сел на задние лапы.

— Пиль, шельма, пиль! — твердил портной.

«А, так вот что, — как бы подумал Шарик, — значит, все-таки, что-то брошено, только не там!» Он шевельнул хвостом, увидел, что хозяин смотрит в конец двора, бросился туда, уткнулся носом в траву, росшую под забором, прошел по ней несколько шагов и с радостным визгом подбежал к Шмутью: в зубах у него была копейка.

Портной, однако, остался не вполне доволен собакой. «Поноску, действительно, она носит, — рассуждал

он, — но зачем нам этот пес? Самим тесно и голодно, лишний только рот...» Сурра заметила это недовольство мужа и стала придумывать, чем бы расположить его в пользу собаки.

Как-то к обеду Шмуль долго не возвращался от заказчиков. Проголодалась портниха с детьми; еще более проголодался и Шарик. Сидя как вкопанный, с подведенными, тощими боками, он давно поглядывал на припертую варистую печь, из которой так вкусно пахло молочной кашей и щукой с луком. Шмуль наконец пришел и уселся с женой и детьми за обед. О собаке никто не вспоминал. Слыша дружное чавканье ртов, Шарик по-прежнему степенно и вежливо сидел вдали от стола, изредка только склоняя то на один, то на другой бок голову и, точно для развлечения, следя за сонными, вялыми мухами, ползавшими в ожидании зимней спячки по нагретому карнизу печи. Сурра, впрочем, не покидала мысли о собаке.

Раздумывая, как бы окончательно расположить в ее пользу мужа, она в конце обеда сказала ему:

— Шарик, может быть, собака не простая.

— Это почему? — спросил портной. — Носит поноску; немудрено — научен и еще что делает. Вот вздумала! И кто такую паршивую барбоску станет учить? на что она, кому?

— Ну, не говори, может, он был у фокусников, а те научили его и не таким штукам, да обеднели и бросили его, либо потеряли, — говорила Сурра, подкладывая мужу лакомые куски.

— Попробуй попытай, — ответил с усмешкой Шмуль. — Ты его нашла, ты с ним и возись.

— Сам попробуй, — разве я что знаю в таких делах или ходила с фокусниками?

Портной был в духе в тот день от полученных заказов и еще более от фаршированной с луком щуки. Он оглянулся на Шарика, который в прежнем

ожидании подачи сидел неподвижно, не спуская глаз с хозяйского стола. «Осрамлю ее, — подумал о жене Шмуль, — так и быть, испытаю собаку; только она, разумеется, не отличится». Не вставая со скамьи, портной кольцом сложил руки, наставил их против собаки и едва сказал «аванц!» — Шарик слегка пригнулся и мгновенно проскочил через руки Шмуля, как сквозь обруч. Присевшая к столу Сурра ахнула от восхищения. «Что время терять!» — подумал между тем Шарик. Видя, что озадаченный его подвигом хозяин, нагнувшись, недоверчиво рассматривал его лапы, точно удивляясь, как такой невзрачный пес и на таких кривулях мог произвести подобный прыжок, — Шарик шевельнул хвостом, еще ниже пригнулся, вскочил на скамью и легче мухи перелетел через спину самого Шмуля. Сурра, покотившись со смеху, припала к столу; а Шарик, недолго думая, опять прыгнул на скамью и перемахнул через спину хозяйки.

— Да, собака из ученых, — невольно согласился с женою Шмуль. — И кто мог ожидать? с виду — плюгавая шавка, а за такую, пожалуй, охотник даст не меньше синей, а то, пожалуй, и красную.

С той поры Шарик водворился на жительстве у портного, деля с хозяевами сытые и голодные, веселые и горестные дни, служа им в виде забавы за столом, срывая с прохожих шапки и расхаживая в виде солдата, на задних лапах, со вложенной в передние лапы палкой, как с ружьем. Веселые дни портного со смертью его жены окончательно прошли и не возвращались. Овдовевший Шмуль впал в безысходную бедность и горе. Он выбился вовсе из сил и стал роптать: «Бог Исаака и Иакова, где Ты? — восклицал он мысленно, не попадая от слез ниткой в иглу. — Почему Ты, о Господи, глух ко мне? за что губишь бедного еврея и его неповинных детей? Отчего христианам хорошо? Смотришь — никуда не годный, пьяница заваля-

щий, шарлатан, живет хорошо, а бедному еврею везде неудача и теснота! Даже вон, русский пес Шарик — и тот счастлив, так весело вечно возится с друзьями своими, собаками соседей».

Был жаркий, пыльный и душный день. Портной с утра ходил по заказчикам за деньгами и нигде не получил ни копейки. Особенно огорчил его один мелкий адвокат, задолжавший ему более ста рублей и постоянно говоривший: «Приходи завтра, денег нет». Отмахал Шмуль с Пресни за Покровку, в Плетешки, и оттуда к Серпуховской заставе, на Замоскворечье. Устал и проголодался он до невозможности, и пить ему сильно хотелось. Пирожники кричали: «Вот горячие, с пылу!» На лотках красовались горы моченых груш, всяких ягод и квас, а в кармане было пусто. К вечеру доплелся он на Садовую и присел в ближнем переулке, на столбике, у каких-то ворот. Через каменный забор из сада, возле которого он сидел, повеяло прохладой. Послышалось тихое, стройное пение. Шмуль оглянулся.

Невдали, в глубине переулка, сквозь вечернюю мглу, он увидел деревья за чугунною оградой, а за ними ярко освещенные окна церкви. На паперти полулежа дремало несколько нищих. Дорога Шмулю была мимо этой церкви. Отдохнув, он встал, пошел далее, поравнялся с церковною оградой и повернул к паперти. «Дай посмотрю, — подумал он, — как молятся христиане; никогда не был в их храме». Дверь в церковь была отворена. На портного в сумерках никто не обратил внимания. Он вошел в церковь.

Был канун приходского праздника. Убранный особенно торжественно, со множеством горящих перед иконами свечей позолоченный алтарь в кадильном дыму точно плавал на воздухе по облакам. В его раскрытых воротах стоял в белой, из серебряного глазета ризе, с седою длинною бородой священник. Он

тихо возглашал моление. Хор любителей из купцов этого прихода вторил ему с незримого за колоннами клироса переливами нежных, на диво спевшихся голосов, среди которых, как от звука дальнего грома, изредка и в меру слышалось гудение мощного баса. Шмуль почувствовал, как бы нечто вдруг подхватило его и стало уносить куда-то вверх, далеко-далеко. Над ним и вокруг него звучало и веяло что-то волшебное, неземное. «Свете тихий», — слышалось от клироса. Волосы шевельнулись на голове Шмуля, и весь он стоял, охваченный мучительным и сладким трепетом. Церковь опустела, служба кончилась. Вслед за прочими богомольцами вышел на улицу и портной.

Долго ли он пробыл в церкви и как добрал до своего подвала, разделся и лег спать, он мало впоследствии помнил. Ясно сознавал он одно: что усталость и голод в то время мгновенно оставили его. Он почувствовал себя бодрым, спокойным и готовым на новую работу. Должник-адвокат выиграл безнадежное выгодное дело и неожиданно расплатился с ним. Прочие заказчики, точно условясь, также в непродолжительном времени уплатили свои долги. Одни прислали деньги через прислугу, другие для расплаты сами явились к Шмулю на квартиру, да еще с извинениями за просрочку. «Что за диво! — изумлялся портной, — не только рыночники, капитанша-ростовщица, даже сквалыга участковый пристав не только расплатился до копейки, а еще заказал другое платье и, чего не бывало прежде, на материал дал вперед деньги». Новые заказы посыпались в то же время так, что портной взял к себе в помощь подмастерья, вскоре затем другого, а спустя полгода перебрался из подвала в просторную и теплую комнату с двух окон, на антресолях двухэтажного деревянного дома, в переулке на Плющихе. Детям он купил по полдюжине белья, новые сапоги и шубейки и себя не забыл: справил се-

бе вместо помятого цилиндра еще мало подержанную поярковую шляпу котелком и — с чьего-то плеча — теплое длинное пальто с барашковым воротником. Дети по двору стали бегать сытые, пузатые, так как постная лапша с луком у Шмуля сменилась теперь бараниной, клецками и рубцами. Отощавший до крайности кривоногий пес Шарик тоже теперь ходил сытый и пузатый, лукаво помахивал закорюченным, наполовину облезлым в голодные дни хвостом, как бы говоря: «Что, взяли? вот мы каковы!» Дела Шмуля вскоре наконец пошли так хорошо, что он стал подумывать и о вывеске. В одном было препятствие: дом, где он жил, стоял в глубине грязного дровяного двора, так что вывески из-за дров, с переулка, пожалуй, не было бы видно.

Кончая теперь заказанную работу, Шмуль весело брал ее под мышку и с тросточкой, в модном котелке и новом пальто шел по улицам в таком духе, что сам удивлялся. «Это все за мою правду и честность Бог послал, — рассуждал он, гордо выступая двойными подошвами по панели. — За то, что я все обряды и правила Израиля соблюдаю как следует».

И действительно, евреи того и ближних околотков знали доподлинно, что Шмуль никогда в рот не брал свинины, не только в виде жирной ветчины, но и самых невинных, тощих сосисок, а с пятницы под субботу, как ни требовали того срочные и спешные заказы, сидел с детьми в потемках, не зажигая огня. Что же касается празднования субботы, он соблюдал ее до того строго, что не ходил в этот день ни к заказчикам, ни в лавку за припасами, и даже не топил печки, заготавливая пищу, как установлено Талмудом, накануне. Раз, впрочем, встретился великий соблазн: приходилось отправиться с работой за деньгами именно в субботу. Шмуль и помедлил бы, но выгодный заказчик жил на другом конце Москвы и в тот день с утра покидал город. Памятуя, что Израилю в день субботний

воспрещены всякие поездки, кроме морского путешествия, то есть езды на воде, Шмуль сел в вагон конки, подложив под себя бутылку с водой, и спокойно на ней съездил за деньгами.

«Вот, говорят, — рассуждал он, — плохо евреям. Оно правда: на улице мальчишки показывают тебе, свернув из полы платья, свиное ухо, зовут тебя пархатым, нечистым. А отчего нечистота? От бедности. Дай евреям волю везде жить, делать честно дела, богатеть, разве то будет? Не один ли у всех Бог? Я тружусь, не пьянствую, забочусь о детях, вот Бог оттого и склонился ко мне, за правду, оттого и уллучились мои дела».

«Оттого ли, однако? — раздумывал иногда Шмуль. — Не было ли тут другой причины?» В голову ему сама собой приходила мысль, что поправка в его делах началась, как нарочно, с того вечера, когда он, истомленный ходьбой, голодом и жаждой, неожиданно зашел в христианский храм и постоял там каких-нибудь полчаса. «Случай, не более! — старался себя уверить Шмуль. — Ведь я вовсе не молился там... фуй! разве я осмелился бы? Ну и что такое, наконец, если я, зайдя в ту церковь, послушал, как седой поп читает там молитвы и как поют купеческие певчие? Впрочем, очень хорошо поют и столько в церкви образов, так пахнет в ней ладаном и светло — не то что в нашей темной, бедной и всегда печальной синагоге».

Дела портного становились все лучше. Явились у него заказчики и из военных. Некий подполковник, получив в командование батальон, заказал ему для себя целую новую обмундировку: летнюю, зимнюю, будничную и парадную. Шмуль нажил на этом немало. За командиром обратились к нему с заказами и офицеры того батальона.

— Отчего ты, любезный, не заведешь вывески? — говорили ему офицеры. — Шьешь не хуже модных портных, а тебя почти никто не знает...

Шмуль подумал и завел вывеску. Дров к началу лета во дворе стало менее, и огромная вывеска «Портной из Варшавы — Август Самойлов» стала всем видна с переулка. В числе новых давальцев к Шмулю перед осенью явился с заказом новой суконной рясы не старый еще соседний протоиерей. Шмуль снял с него мерку, сходил в гостиный двор, где забирал товар, и, зайдя на квартиру протоиерея, выложил перед ним штуку тончайшего, с заграничной пломбой, сукна. Заказчику очень понравился товар.

— Суконце важное... А давно ли мастеришь в наших краях? — спросил священник, глядя сукно по ворсу и против ворса и приглядываясь к нему на свет.

Польщенный похвалой важного духовного лица, Шмуль сообщил ему о своем прошлом и не утерпел, кстати, рассказать, как он случайно год назад зашел вечером в церковь и как с той поры совершенно неожиданно поправились его дела.

— Крестись, чадо! — ответил ему на это священник. — Перст Божий указывает тебе, как и что делать.

Шмуль не нашелся что ответить на это и промолчал. Выйдя в некотором смущении от священника, он несмело прошел несколько шагов по улице и тряхнул головой.

«Вот еще что выдумал! — сказал он себе в неудовольствии. — Точно не всякая вера сильна у Бога, точно их вера праведнее и сильнее! Немало господ и прежде, да какие — генералы, графы, богачи, особенно полковница Ульянова — два дома у нее, на Стоженке и Мясницкой, — предлагали мне то же... Устоял, однако, бедный еврейчик в вере в дни всякого горя, теперь же и пуще того устою!»

С осени Шмуль принялся рядом с прежнею своею комнатою на антресолях еще другую; в прежней помещался он сам с детьми, а в новой работали и спали

его подмастерья. Старуха-кухарка нижних жильцов — сапожников, тоже евреев, — была договорена варить ему обедать и ставить самовар. К зиме дрова опять завалили двор. «Надо весной искать другую квартиру, — думал портной, — вывески не видно с переулка; впрочем, еще месяц-другой такой работы, можно перейти не только на Арбат, а хоть и на Тверскую».

Стояла морозная погода. Дети Шмуля реже стали выбегать во двор и на улицу и скучали взаперти. Он справил им теплые шапки, рукавицы и калоши. Резвый сынишка спускался раз в новых калошах по крутой обледенелой лестнице, поскользнулся и со второго этажа скатился по ступенькам вниз.

— Тату, тату! — закричала Ривка, вбегая к отцу. — Там Иоська упал, лежит и не дышит.

Шмуль бросился к сыну, поднял его: мальчик был как мертвый. Он внес его в комнату, тёр ему виски, брызгал в лицо водой, Иоська лежал бездыханный.

«Умер! а не умер, непременно помрет!» — в ужасе думал Шмуль, прислушиваясь к чуть слышному дыханию сына и вглядываясь в его безжизненное рябое личико. Сбежались соседи; были приведены знахари и знахарки. Но что они ни делали, что ни предпринимали, мальчик не приходил в себя. Так он в бессознательном состоянии пролежал несколько дней. В длинные, темные ночи просиживая при свете ночника над сыном, Шмуль безнадежно ломал над ним руки, бил себя в грудь или, по обычаю единоплеменников, босой, в разорванном белье, забивался в угол, сыпал себе голову золой и, тихо всхлипывая, повторял: «Бог Исаака и Иакова! опять Ты отвернулся от меня, жестокий, опять караешь и казнишь неповинного! за что, вай-мир, за что?»

Вьюга гудела на дворе, снег ледяными ворохами бил в окна. Ночник догорал, а Шмуль до утра не смыкал глаз, не отходил от сына. В одну из таких ночей,

измученный долгою бессонницей, он забылся короткою дремотой и вдруг, точно ударил его кто-нибудь по голове, очнулся. Впотьмах над ним прозвучало странное слово. Он явственно разобрал чей-то тихий, но властный голос: «Крестись!» Думая, что это ему приснилось, он закрыл глаза, но опять услышал: «Хочешь спасти дитя, крестись!» Вскочив с полсти, на которой он прилег у кровати сына, Шмуль оправил потухший ночник, осмотрелся кругом. В комнате, кроме детей, не было никого. Ривка мирно спала на лежанке в одном углу комнаты; в другом по-прежнему, как мертвый, лежал неподвижно Иоська. Шмуль отошел к окну, вперил глаза в надворье, где, злобно кружась, гудела вьюга, и задумался.

— Крестись! — громче раздался за его плечами тот же голос.

Ужас охватил Шмуля.

«Да для чего же? — сказал он себе. — Чем одна вера выше другой? сына моего, мертвого Иоську, не спасти теперь никому!» Шмуль оглянулся и замер. У кровати сына стояло что-то белое. На слабых худых ножках кто-то, шатаясь, шел к нему, протянув руки. Портной бросился к призраку: то был его очнувшийся Иоська. Весь дом утром сбежался на радостные крики Шмуля, дивясь на мальчика, который столько времени был как мертвый и ожил.

— Это по вере моей, по вере отцов! — всем твердил и объяснял Шмуль. — Бог Израиля, владыко наш, явил мне такую милость!

В несказанном счастье от спасения сына, Шмуль стал обдумывать, чем бы ознаменовать эту радость, и решил пожертвовать в синагогу ценную пелену на свитки священных книг Торы. Справившись, однако, о ее стоимости, он остановился с исполнением жертвы. «Дорого, не по карману! — рассуждал он, вспомнив жену. — Будь жива Сурра, купил бы одну материю, а

она вышила бы; теперь лучше пожертвую коврик к кафедре — это будет дешевле... Да и коврик не подождать ли, пока более соберусь со средствами? Ведь тоже немало обойдется; дешевый неприлично, да и не примут. К тому же времени и Иоська подрастет, станет учиться грамоте; введу его в синагогу да кстати простелю там при всех и ковер...»

Мысли о возвращенном к жизни сыне не выходили из головы Шмуля. Он думал об его будущности, воображал его себе красивым, стройным отроком, потом разумным юношей, на выучке в хедере, у первых по знаниям меламадов. Иоська давно вытвердил по Седеру все молитвы, прошел Хумеш (Пятикнижие) и изучает Мишну и Талмуд. На степенного остролова-ученика заглядываются в синагоге первые еврейские тузы. Его черные кудри выются до плеч, как у Авессалома; рябины на лице с годами исчезли, а умен и находчив он, как его соименник, прекрасный Иосиф, и стихи пишет, как Давид. Наука кончена, Иоська поступил в банкирскую контору, да какие дела делает! Вот, из тщедушного и жалкого мальчика выйдет если не сам реббе Ротшильд или реббе Монтефиоре, то по крайней мере барон Френкель.

Прошло еще некоторое время. Шмуль выгодно купил, по случаю, мягкой мебели, горшков с цветами, ситцевые занавески на окна.

У какого-то закладчика, также случайно и выгодно, он купил к дивану и красивый ковер. Совесть шевельнулась у него.

«Как же это? — мыслил он. — Я положу ковер у себя, а обещал на синагогу? Ничего! — утешал он себя. — Я обещал новый, а это подержанный, для синагоги не идет».

Жилье Шмуля совсем перестало походить на скудный угол убогого поденщика. Фарфоровая посуда красовалась за стеклом на горке, по стенам были

развешены хромофотографии, на столе перед диваном стояла лампа. Одно смущало его: по комнатам ходил все тот же лохматый и кривоногий, с закорюченным облезлым хвостом Шарик. Собака с некоторого времени так опротивела Шмулю, что он стал забывать об ее пище, а когда дети кормили ее, ворчал и гнал ее от себя. «Надо сбыть эту уродину! — думал портной, глядя на Шарика, умильно ластившегося к нему. — У полковницы Ульяновой отличные белые пуделя, ходят наполовину стриженные, зад без шерсти и морда прострижена, так что торчат только усы да брови, а на шее голубые банты; непременно выпрошу у нее щенка, а этого хоть отдать прохвостам на живодерню, одно жаль — покойница Сурра выкормила его. Отвел бы на толкучку, под Сухареву, да кто купит?»

Решение сбыть Шарика так засело в голову Шмуля, что он без досады уже не мог видеть его, а когда тот при встрече бросался по привычке к нему, он даже угощал его пинками.

«Вот чертов пес, — отмахиваясь, думал Шмуль, — лезет на грудь, выпачкал всего грязными лапищами и не думает, где вскоре очутится».

Сшив на собаку ошейник, портной выбрал бечевку и повел Шарика на рынок; но собака, всегда охотно следовавшая за портным, тут вдруг почему-то запрыгала вместо четырех на трех ногах, поджав одну из задних, — может быть, вследствие примерзшего к ней комка снега.

«Нет, подожду, — подумал Шмуль, — пусть выходится, еще забракуют хромую».

Судьба Шарика была отсрочена.

Был холодный и темный вечер в конце зимы. Порывистый ветер раскачивал безлистые, обледенелые деревья сзади дома, в котором была квартира портного. Жильцы двух нижних этажей этого дома давно погасили огни и спали. Дети Шмуля, набегавшись на

дворе, также уже улеглись. Спали в соседней комнате мезонина, побывав с вечера в бане, и оба подмастерья. Шмуль, пока было светло, наскоро выутюжил конченную чью-то пару платья и тоже улегся, сердясь на кухарку нижних жильцов, которая с обеда куда-то отлучилась и вовремя не поставила вечернего самовара, и когда внесла его, он так сильно дымил, что вообще покладистый нравом Шмуль раскричался и велел вынести его на лестницу за дверь. Подмастерья после обычной еженедельной бани показались ему тоже подозрительными: смеялись громко, отвечали, точно хмельные, невпопад, а ложась спать, так долго возились за тонкою дощатою стеной, что Шмуль не выдержал и крикнул:

— Цыц! шарлатаны! пьяницы! Откуда взяли денег, надрызгались? Я вас!

Наморившись за день на ходьбе по заказчикам и на работе, портной вскоре заснул. Холодный ветер продолжал еще шуметь на дворе, раскачивая деревья; зато в комнате было так уютно и тепло. К полночи ветер замолк. Кругом настала тишина. Слышно было в комнате, где-то в углу, только позвякивание сверчка, да Шарик, переходя от жарко натопленной печи на более прохладную средину комнаты и опять возвращаясь к печи, то мирно дремал, то вдруг поднимал голову и тревожно спросонья наострял уши, точно обнюхивал темный воздух.

Шмулю приснился дивный и радостный сон. Он увидел себя вдруг в раззолоченной какой-то комнате, в компании пышных богачей. На каждом были дорогие платья и каждый с похвалой говорил, что это работа Шмуля. Среди хваливших и славивших его богачей портной разглядел и своего Иоську; но это уже был не Иоська, и даже не Иосель, а гордый, с крупными брильянтами на манишке и на перстнях, миллионер-банкир, барон Иосиф Шмуленштейн. Все были

веселы и шумны, пили дорогие вина и играли в карты по большой. Одно обстоятельство несколько беспокоило Шмуля, а именно не совсем чистый и приятный воздух в раззолоченной палате. Пахло как бы дымом или гарью. «Треклятая стряпуха забыла, значит, на лестнице самовар!» — подумал Шмуль и сам невольно улыбнулся во сне этой неподходящей мысли. «Какая глупость! — решил он, сладко потягиваясь на кровати. — Ну может ли стряпуха Мавра даже упасть в такой дом?»

Едкая гарь, однако, усиливалась. Кто-то простонал у изголовья портного, кто-то тронул его чем-то теплым за руку, потом за лицо. «Тьфу! не Шарик ли вздумал ластиться? — пришло в голову Шмуля. — И зачем я этого аспида оставил тут, не прогнал на мороз?» Портной очнулся. На дворе была еще ночь, но в комнате что-то светилось, Шмуль протер глаза. У кровати, странно визжа, действительно метался Шарик. Портной уже собирался вытолкать его за дверь, но остановился. Комната наполовину была полна дымом. Очевидно, горело где-то невдали, чуть ли даже не здесь, на антресолях. Сквозь щели притворенной двери из коридора мерцал огонь. Шмуль вскочил, открыл дверь и вскрикнул. Коридор был полон дыма. Он поспешил к лестнице. Пламя хлынуло ему навстречу. Огненные языки вились над выходом и уже касались перегородки, за которою спали подмастерья. Портной бросился к детям, подхватил их сонных на руки и, прикрыв одеялом, побежал сквозь удушливый дым к выходу и замер в ужасе. Путь на лестницу был уже прегражден. Портной распахнул выходную дверь... Лестница сверху донизу пылала. Шарик с визгом скользнул мимо Шмуля и стремглав кинулся по ступеням в это пламя.

«Боже Господи! Бог единый! — в смертном страхе мыслил портной, кинувшись обратно в комнату и за-

пирая за собой дверь в коридор. — Лестница в огне, другого выхода нет, а дым и пламя увеличиваются, скоро вспыхнет и это последнее убежище. Что делать? Что предпринять?»

Спустив на пол испуганных огнем, кричавших и хватавшихся за него детей, Шмуль подошел к окну. Во дворе было тихо. Жильцы нижних этажей, очевидно, еще спали, не зная, какая беда грозила им. Портной выбил стекла в окнах, выломал рамы, высунулся наружу и стал кричать:

— Пожар! вай-мир! гевалт! спасайтесь! горим!

Отклика не было. Шмуль еще громче повторил крики. В переулке замелькали тени. Кто-то оттуда стал ломиться в запертые ворота. Верхний этаж дома между тем разгорался, застилая двор дымом и освещающая красным отблеском остатки сложенных возле дома дров.

«Сгорим, сгорим, как солома! — с содроганием думал портной. — А чем спасти хоть бы детей?» Он упал ниц и стал горячо молиться. «Спаси Израиля, Бог Авраама, Исаака и Иакова! Бог единый, помилуй и помоги!.. Не меня, спаси хоть малых детей...» Шмулю вспомнилось, что он обещал жертву на синагогу и не выполнил ее. «Не только ковер, пелену куплю и внесу! — шептал он трясущимися от страха губами. — Все прозакладую, отдам... все!» И он бросился к кроватям, сорвал с них простыни и одеяла, связал их в длинный канат и стал концом его обматывать плачущую дочку. «Она легче, не оборвется и крепче стянет узлы! — думал он. — За нею спущу и сына».

— Не плачь, Ривка! — говорил он дочери. — Спасу тебя в окошко, не бойся, видишь, на этих связках, а ты, как только станешь наземь, развязывайся скорей.

Дым врывался в комнату более и более; в ней становилось трудно дышать. Огонь, треща за дверью, охватил, очевидно, весь коридор. Над притолком ко-

ридной двери уже мелькали огненные змейки. Портной быстро спустил из окна девочку, вздернул канат обратно и стал обвязывать им сына. Ворота во двор растворились. Под окнами, в дыму, который валил уже из остальных этажей, двигалась люда. Нижние жильцы проснулись, выбрасывая в окна впопыхах разную рухлядь.

— Помогите, держите! — закричал Шмуть, бережно спуская из окна сына.

Снизу увидели его, отстраняясь от дыма, протянули руки и приняли Иоську, но при этом так потянули канат, что портной не удержал его и выронил из рук.

Шмуть обмер в ужасе. Он понял, что спасения ему более нет. Он должен был неминуемо сгореть. Удушливый жгучий дым, захватывая дыхание, летел к открытым окнам, вырываясь сквозь них багрово-темными клубами. Портной высунулся на мгновение в окно, взглянул вниз и увидел, что броситься туда с трехсаженной высоты значило разбиться вдребезги. Он схватил ковер, набросил его на голову и беспомощно припал в угол под окном.

«Здесь постигнет меня последняя участь, — думал он, замирая, — хлынет пламя, вспыхнет одежда, задохнусь, сгорю...» Ему вспомнился в этот миг Шарик. «Бедный верный пес! — сказал он себе. — Я гнал его, хотел сбыть, а он-то и разбудил меня, сохранил жизнь детям и сам, как бы показывая путь, бросился в огонь...»

Страшные секунды летели. Шум и гул пожара увеличивались. Пылавшая коридорная дверь с треском рухнула. Портной невольно выглянул из-под ковра и обмер. Ярко-освещенная комната была в огне; горела мебель и занавески окон. Шмуть сбросил с себя ковер... Внезапная мысль охватила его.

«Бог Израиля не дал мне всей помощи, отвернулся от меня! — подумал он. — Неужели же точно есть другой Бог, милостивее и сильнее? И неужели оттого только, что я зашел в Его светлый храм, вся жизнь моя стала лучше? И я не понял Его зова, остался глух к нему... Лучше сразу разбиться, чем медленно сгореть...»

Шмуль вскочил на подоконник, уцепился за него, свесил ноги наружу и на мгновение помедлил. Клубы дыма душили его; волосы на голове и бороде затрепщали. Шмуль закрыл глаза, поднял руку и, мысля: «Бог христианский! Иисус, спаси меня, бедного!» — осенил себя крестом и бросился из окна...

Через неделю в церкви близ Садовой полковница Ульянова принимала от купели нового христианина. То был портной Айзик Шмуль. В белой длинной рубашке, с розовой лентой вместо пояса, он принял крещение не один, а с детьми. Сияющий и радостный стоял он во время обряда, слушая молитвы и думая: «Нет, не простой случай, не выкинутая из нижнего жилья чья-то перина, как уверяли тогда, спасла меня. Едва я сорвался и бросился в темную, страшную пропасть, точно некие огненно-голубые крылья подхватили меня, и на них-то я бережно спустился и невидим стал на ноги... Свят Господь Иисус Христос! И нет выше, радостнее веры в Него!»

А у ворота новой квартиры портного, в доме его крестной, Ульяновой, в обществе белых пуделей хозяйки, сидел на задних лапах, с виляющим хвостом уцелевший на пожаре Шарик. Он не был выстрижен, так как из огня выскочил совершенно без шерсти; но зато был чисто вымыт и в голубом ошейнике, как и пуделя, поглядывал на улицу с таким спокойствием, как бы ничего особого с ним и не было.

ЗНАКОМСТВО С ГОГОЛЕМ

(Из литературных воспоминаний)

I

Впервые в жизни я увидел Гоголя за четыре месяца до его кончины.

Это случилось осенью в 1851 году. Находясь тогда, в конце октября, в Москве, с служебным поручением бывшего в то время товарищем министра народного просвещения А. С. Норова, я получил от старого своего знакомого, покойного московского профессора О. М. Бодянского, записку, в которой он извещал меня, что один из наших земляков-украинцев, г. А—й, которого перед тем я у него видел, предполагал петь малорусские песни у Гоголя и что Гоголь, узнав, что и у меня собрана коллекция украинских народных песен, с нотами, просил Бодянского пригласить к себе и меня.

Нежданная возможность выпавшего мне на долю свидания с великим писателем сильно меня обрадовала. Автор «Мертвых душ» находился в то время на верху своей славы, и мы, тогдашняя молодежь (мне в то время было двадцать два года), питали к нему безграничную любовь и преданность. У меня с детства не выходило из головы добродушное обращение к читателям пасечника Рудого Панька. «Когда кто из вас будет в наших краях, — писал в „Вечерах на хуторе близ Диканьки“ веселый пасечник, — то заверните ко мне; я вас напою удивительным грушевым квасом».

Это забавное приглашение, как я помню, необыкновенно заняло меня в деревне моей бабки, где ее слуга Абрам, учившийся перед тем в Харькове переплетному мастерству и потому знавший грамоте, впервые прочел мне, шестилетнему мальчику, украинские повести Гоголя; но я не мог принять приглашения Рудого Панька. В 1835 году у меня был один только конь — липовая ветка, верхом на которой я гарцовал по саду, и в то время я отлучался из родного дома не далее старой мельницы, скрип тяжелых крыльев которой слышался с выгона в моей детской комнате.

Я тогда был в полной и искренней уверенности, что на свете действительно где-то, в сельской таинственной глуши, существует старый пасечник, рудый, то есть рыжий Панько, и что он, в длинные зимние вечера, сидит у печи и рассказывает свои увлекательные сказки. Перед моим воображением живо развевалась дивная история «красной свитки», проходила бледная утопленница «Майской ночи» и на высотах Карпатских гор вставал грозный мертвый всадник «Страшной мести».

А теперь, в 1851 году, мне предстояло увидеть автора не только «Вечеров на хуторе», но и «Мертвых душ» и «Ревизора».

В назначенный час я отправился к О. М. Бодянскому, чтобы ехать с ним к Гоголю. Бодянский тогда жил у Старого Вознесения на Арбате, на углу Мерзляковского переуллка, в доме ныне Е. С. Мещерской, № 243. Он встретил меня словами: «Ну, земляче, едем; вкусим от благоуханных, сладких сотов родной украинской музыки». Мы сели на извозчицьи дрожки и поехали по соседству на Никитский бульвар, к дому Талызина, где, в квартире гр. А. П. Толстого, в то время жил Гоголь. Теперь этот дом, № 314, принадлежит Н. А. Шереметевой. Он не перестроен, имеет, как и тогда, шестнадцать окон во двор и пять на улицу, в два этажа, с каменным балконом на колоннах во двор.

Было около полудня. Радость предстоявшей встречи несколько, однако, затемнялась для меня слухами, которые в то время ходили о Гоголе, по поводу изданной незадолго перед тем его известной книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Я невольно припоминал злые и ядовитые нападки, которыми тогдашняя руководящая критика преследовала эту книгу. Белинский в ту пору был нашим кумиром, а он первый бросил камнем в Гоголя за его «Переписку с друзьями». По рукам в Петербурге ходило в списках его неизданное письмо к Гоголю, где знаменитый критик горячо и беспощадно бичевал автора «Мертвых душ», укоряя его в измене долгу писателя и гражданина.

Хотя обвинения Белинского для меня смягчались в кружке тогдашнего ректора Петербургского университета П. А. Плетнева, друга Пушкина и Жуковского, отзывами иного рода, тем не менее я и мои товарищи-студенты, навещавшие Плетнева, не могли вполне отрешиться от страстной и подкупающей своим красноречием критики Белинского. Плетнев, защищая Гоголя, делал что мог. Он читал нам, студентам, письма о Гоголе живших в то время в чужих краях Жуковского и князя Вяземского, объяснял эти письма и советовал нам, не поддаваясь нападкам врагов Гоголя, самостоятельно решить вопрос, прав ли был Гоголь, издавая то, о чем он счел долгом открыто высказаться перед родиной? «Его зовут фарисеем и ренегатом, — говорил нам Плетнев, — клянут его, как некоего служителя мрака и лжи, оглашают его, наконец, чуть не сумасшедшим... И за что же? За то, что, одаренный гением творчества, родной писатель-сатирик дерзнул глубже взглянуть в собственную свою душу, проверить свои сокровенные помыслы и самостоятельно, никого не спрося, открыто о том поведать другим... Как смел он, создатель Чичикова, Хле-

стакова, Сквозника и Манилова, пойти не по общей, а по иной дороге, заговорить о духовных вопросах, о церкви, о вере? В сумасшедший дом его! Он — помешанный!» Так говорил нам Плетнев.

Молва о помешательстве Гоголя действительно в то время была распространена в обществе. Говорили странные вещи: будто Гоголь окончательно отрекся от своего писательского призвания, будто он постится по целым неделям, живет, как монах, читает только Ветхий и Новый Завет и жития святых и, душевно болея и сильно опустившись, относится с отвращением не только к изящной литературе, но и к искусству вообще.

Все эти мысли по поводу Гоголя невольно пронеслись в моей голове в то время, когда извозчицы дрожки по Никитскому бульвару везли Бодянского и меня к дому Талызина. Одно меня несколько успокаивало: Гоголь пригласил к себе певца-малоросса, этот певец должен был у него петь народные украинские песни — следовательно, думал я, автор «Мертвых душ» не вполне еще стал монахом-аскетом и его душе еще доступны произведения художественного творчества.

Въехав в каменные ворота высокой ограды, направо, к балконной галерее дома Талызина, мы вошли в переднюю нижнего этажа. Старик-слуга графа Толстого приветливо указал нам дверь из передней направо.

— Не опоздали? — спросил Бодянский, обычною своею, ковыляющею походкой проходя в эту дверь.

— Пожалуйте, ждут-с! — ответил слуга.

Бодянский прошел приемную и остановился перед следующей, затворенною дверью в угольную комнату, два окна которой выходили во двор и два на бульвар. Я догадывался, что это был рабочий кабинет Гоголя. Бодянский постучался в дверь этой комнаты.

— Чи дома, брате Миколо? — спросил он по-ма-лорусски.

— А дома ж, дома! — негромко ответил кто-то от-туда.

Сердце у меня сильно забилося. Дверь растворилась. У ее порога стоял Гоголь.

Мы вошли в кабинет. Бодянский представил меня Гоголю, сказав ему, что я служу при Норове и что с ним, Бодянским, давно знаком через Срезневского и Плетнева.

— А где же наш певец? — спросил, оглядываясь, Бодянский.

— Надул, к Щепкину поехал на вареники! — ответил с видимым неудовольствием Гоголь. — Только что прислал извинительную записку, будто забыл, что раньше нас дал слово туда.

— А может быть, и так! — сказал Бодянский. — Вареники не свой брат.

Что еще при этом некоторое время говорили Гоголь и Бодянский, я тогда, кажется, не слышал и почти не сознавал. Ясно помню одно, что я не спускал глаз с Гоголя.

Мои опасения рассеялись. Передо мной был не только не душевнобольной или вообще свихнувшийся человек, а тот же самый Гоголь, тот же могучий и привлекательный художник, каким я привык себе во-ображать его с юности.

Разговаривая с Бодянским, Гоголь то плавно про-хаживался по комнате, то садился в кресло к столу, за которым Бодянский и я сидели на диване, и изредка посматривал на меня. Среднего роста, плотный и с совершенно здоровым цветом лица, он был одет в темно-коричневое длинное пальто и в темно-зеленый бар-хатный жилет, наглухо застегнутый до шеи, у которой, поверх атласного черного галстука, виднелись белые мягкие воротнички рубахи. Его длинные каштановые

волосы прямыми космами спадали ниже ушей, слегка загибаясь над ними. Тонкие, темные, шелковистые усики чуть прикрывали полные красивые губы, под которыми была крохотная эспаньолка. Небольшие карие глаза глядели ласково, но осторожно и не улыбаясь даже тогда, когда он говорил что-либо веселое и смешное. Длинный сухой нос придавал этому лицу и этим, сидевшим по его сторонам, осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее и вместе добродушно-горделивое. Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно-задумчивые аисты.

Гоголь в то время, как я отлично помню, был очень похож на свой портрет, писанный с него в Риме в 1841 году знаменитым Ивановым. Этому портрету он, как известно, отдавал предпочтение перед другими.

Успокоясь от невольного охватившего меня смущения, я стал понемногу вслушиваться в разговор Гоголя с Бодянским.

— Надо, однако же, все-таки вызвать нашего Рубини, — сказал Гоголь, присаживаясь к столу. — Не я один, и Аксаковы хотели бы его послушать... особенно Надежда Сергеевна.

— Устрою, берусь, — ответил Бодянский, — если только тут не другая причина и если наш земляк от здешних угощений не спал с голоса... А что это у вас за рукописи? — спросил Бодянский, указывая на рабочую, красного дерева, конторку, стоявшую налево от входных дверей, за которою Гоголь перед нашим приходом, очевидно, работал стоя.

— Так себе, мараю по временам! — небрежно ответил Гоголь.

На верхней части конторки были положены книги и тетради; на ее покатой доске, обитой зеленым сукном, лежали раскрытые, мелко исписанные и перемаранные листы.

— Не второй ли том «Мертвых душ»? — спросил, подмигивая, Бодянский.

— Да... иногда берусь, — нехотя проговорил Гоголь, — но работа не подвигается; иное слово вытягиваешь клещами.

— Что же мешает? У вас тут так удобно, тихо.

— Погода, убийственный климат! Невольно вспоминаешь Италию, Рим, где писалось лучше и так легко. Хотел было на зиму уехать в Крым, к Княжевичу, там писать, думал завернуть и на родину, к своим, — туда звали на свадьбу сестры, Елизаветы Васильевны...

Ел. В. Гоголь тогда вышла замуж за саперного офицера <Вл. И.> Быкова.

— За чем же дело стало? — спросил Бодянский.

— Едва добрался до Калуги и возвратился. Дороги невозможные, простудился; да и времени пришлось бы столько потратить на одни переезды. А тут еще затеял новое полное издание своих сочинений.

— Скоро ли оно выйдет?

— В трех типографиях начал печатать, — ответил Гоголь, — будет четыре больших тома. Сюда войдут все повести, драматические вещи и обе части «Мертвых душ». Пятый том я напечатаю позже, под заглавием «Юношеские опыты». Сюда войдут некоторые журнальные статьи, статьи из «Арабесок» и прочее.

— А «Переписка»? — спросил Бодянский.

— Она войдет в шестой том; там будут помещены письма к близким и родным, изданные и неизданные... Но это уже, разумеется, явится... после моей смерти.

Слово «смерть» Гоголь произнес совершенно спокойно, и оно тогда не прозвучало ничем особенным, ввиду полных его сил и здоровья.

Бодянский заговорил о типографиях и стал хвалить какую-то из них. Речь коснулась и Петербурга.

— Что нового и хорошего у вас, в петербургской литературе? — спросил Гоголь, обращаясь ко мне.

Я ему сообщил о двух новых поэмах тогда еще молодого, но уже известного поэта Ап. Ник. Майкова, «Савонарола» и «Три смерти». Гоголь попросил рассказать их содержание. Исполняя его желание, я наизусть прочел выдержки из этих произведений, ходивших тогда в списках.

— Да это прелесть, совсем хорошо! — произнес, выслушав мою неумелую декламацию, Гоголь. — Еще, еще...

Он совершенно оживился, встал и опять начал ходить по комнате. Вид осторожно-задумчивого аиста исчез. Передо мною был счастливый, вдохновенный художник. Я еще прочел отрывки из Майкова.

— Это так же законченно и сильно, как терцеты Пушкина, во вкусе Данта, — сказал Гоголь. — Осип Максимович, а? — обратился он к Бодянскому. — Ведь это праздник! Поэзия не умерла. Не оскудел князь от Иуды и вождь от чресл его... А выбор сюжета, а краски, колорит? Плетнев присылал кое-что, я и сам помню некоторые стихи Майкова.

Он прочел, с оригинальной интонацией, две начальные строки известного стихотворения из «Римских очерков» Майкова:

Ах, чудное небо, ей-богу, над этим классическим Римом!
Под таким небом невольно художником станешь!

— Не правда ли, как хорошо? — спросил Гоголь. Бодянский с ним согласился.

— Но то, что вы прочли, — обратился ко мне Гоголь, — это уже иной шаг. Беру с вас слово — прислать мне из Петербурга список этих поэм.

Я обещал исполнить желание Гоголя.

— Да, — продолжал он, прохаживаясь, — я застал богатые всходы...

...Вторично я увидел Гоголя вскоре после первого с ним свидания, а именно 31 октября. Повод к этому

подала новая моя встреча у Бодянского с украинским певцом и полученное мною вслед за тем от Бодянского нижеследующее письмо, сохраненное у меня в целости, как и другие, нижеприводимые письма.

«30 октября, 1851 года, вторник.

Извещаю вас, что земляк, с которым вы на днях виделись у меня, поет и теперь и охотно споет нам у Гоголя. Я писал этому последнему; только пение он назначил не у себя, а у Аксаковых, которые, узнав об этом, упросили его на такую уступку. Если вам угодно, пожалуйста ко мне завтра, часов в 6 вечера; мы отправимся вместе. Ваш О. Б.»

В назначенный вечер, 31 октября, Бодянский, получив приглашение Аксаковых, привез меня в их семейство, на Поварскую. Здесь он представил меня седому, плотному господину, с бородой и в черном, на крючках, зипуне, знаменитому автору «Семейной хроники», Сергею Тимофеевичу Аксакову; его добродушной, полной и еще бодрой жене, Ольге Семеновне; их молодой и красивой, с привлекательными глазами дочери, девице Надежде Сергеевне, и обоим их сыновьям, в то время уже известным писателям-славянофилам, Константину и Ивану Сергеевичам. О моем дальнейшем знакомстве с этою замечательно литературною семьей я расскажу когда-нибудь в другое время. Здесь же ограничусь рассказом только о том, что касается моих встреч с Гоголем.

Гоголь в назначенный вечер приехал к Аксаковым значительно позже Бодянского и меня. До его приезда С. Т. Аксаков и его сыновья, разговарывая со мною о Петербурге, расспрашивали о Норове, Плетневе, Срезневском и других знакомых им писателях. Все посматривали на дверь, ожидая Гоголя и приглашенного певца. Ни тот ни другой еще не являлись. Пока Бодянский говорил со стариками, ко мне подсел Иван Сергеевич. Сообщив ему о моем заезде с Бодян-

ским к Гоголю, я спросил его, что слышно о втором томе «Мертвых душ», который всех тогда занимал. И. С. Аксаков ответил мне, что в начале октября Гоголь был у них в деревне, Абрамцеве, под Сергиевской лаврой, где читал отрывки из этого тома их отцу и потом Шевыреву, но взял с них обоих слово не только никому не говорить о прочитанном, но даже не сообщать предмета картин и имен выведенных им героев.

— Батюшка нам передавал одно, — прибавил И. С. Аксаков, — что эта часть поэмы Гоголя по содержанию, по обработке языка и выпуклости характеров показалась ему выше всего, что доньше написано Гоголем. Надо думать, что Чичиков в конце этой части, вероятно, попадет за новые проделки в ссылку в Сибирь, так как Гоголь у нас и у Шевырева взял много книг с атласами и чертежами Сибири. С весны он затевает большое путешествие по России; хочет на многое взглянуть самолично, собственными глазами, назвучаться русскими звуками, русскою речью и затем уже снова выступить на литературной сцене, с своими новыми образами. Все твердит: «Жизнь коротка, не успею»; встает рано, с утра берется за перо и весь день работает; ночью, в одиннадцать часов, уже в постели.

— Мы видели у него груды исписанных бумаг, — сказал я.

— Он мараает целые дести, — сказал И. С. Аксаков, — переделывает, пишет и опять обрабатывает; как живописец с кистью, то подойдет и смотрит вблизи, то отходит и вглядывается, не бросается ли какая-либо частность слишком резко в глаза? Его только смущают несправедливые нападки.

— За «Переписку с друзьями»? — спросил я.

— Да, эти злобные клеветы, будто он возгнушался искусством, считает его низким и бесполезным! Вы его видели — это ли не истинный, преданный долгу

художник? А его чуть не в глаза называли, за его душевную исповедь, изменником, обманщиком, приписывали ему низкие и подлые цели. Жалкая, оторванная от родной почвы кучка западников-либералов! Им чужда Россия, чужд ее своеобразный, верящий народ.

Подошел старик Аксаков. Он передал, что Гоголь все ждет от него живых «птиц», говоря, что и свои «души» он постарается сделать столь же живыми. Подъехал наконец Гоголь. Любезно поздоровавшись и пошутив насчет нового запоздания певца, он после первого стакана чаю сказал Над. С. Аксаковой: «Не будем терять дорогого времени», и просил ее спеть. Она очень мило и совершенно просто согласилась. Все подошли к роялю. Н. С. Аксакова развернула тетрадь малорусских песен, из которых некоторые были ею положены на ноты с голоса самого Гоголя.

— Что спеть? — спросила она.

— «Чоботы», — ответил Гоголь.

Н. С. Аксакова спела «Чоботы», потом «Могилу», «Солнце низенько» и другие песни.

Гоголь остался очень доволен пением молодой хозяйки, просил повторять почти каждую песню и был вообще в отличном расположении духа. Заговорили о малорусской народной музыке вообще, сравнивая ее с великорусскою, польскою и чешскою. Бодянский все посматривал на дверь, ожидая появления приглашенного им певца.

Помню, что спели какую-то украинскую песню даже общим хором. Кто-то в разговоре, которым прерывалось пение, сказал, что кучер Чичикова, Селифан, участвующий, по слухам, во втором томе «Мертвых душ», в сельском хороводе, вероятно, пел и только что исполненную песню. Гоголь, взглянув на Н. С. Аксакову, ответил с улыбкой, что, несомненно, Селифан пел и «Чоботы», и даже при этом лично показал, как Селифан высокоделикатными, кучерскими движе-

ями, вывертом плеча и головы должен был дополнять, среди сельских красавиц, свое «заливисто-фистульное» пение. Все улыбались, от души радуясь, что знаменитый гость был в духе. Но не прошло после того и десяти минут, Гоголь вдруг замолк, насупился, и его хорошее настроение бесследно исчезло. Усевшись в стороне от чайного стола, он как-то весь вошел в себя и почти уже не принимал участия в общей длившейся беседе. Это меня поразило. Зная его обычаи, Аксаковы не тревожили его обращениями к нему и, хотя, видимо, были смущены, покорно ждали, что он снова оживится.

Что вызвало в Гоголе эту неожиданную перемену в его настроении, новая ли, непростительная небрежность приглашенного певца, который и в этот вечер так и не явился, или случайное напоминание в дорогой ему семье о неконченной и мучившей его второй части «Мертвых душ» — не знаю. Только Гоголь пробыл здесь еще с небольшим полчаса, посидел молча, как бы сквозь дремоту прислушиваясь к тому, о чем говорили возле него, встал и взял шляпу.

— В Америке обыкновенно посидят, посидят, — сказал он, через силу улыбаясь, — да и откланиваются.

— Куда же вы, Николай Васильевич, куда? — всполошились хозяева.

— Насладившись столь щедрым пением обязательного земляка, — ответил он, — надо и восвояси. Не здоровится что-то. Голова — как в тисках.

Его не удерживали.

— А вы долго ли еще здесь пробудете? — спросил Гоголь, обратившись на пути к двери ко мне.

— Еще с неделю, — ответил я, провожая его с Боянским и И. С. Аксаковым.

— Вы, по словам Осипа Максимовича, перевели драму Шекспира «Цимбелин». Кто вам указал на эту вещь?

— Плетнев.

— Узнаю его... «Цимбелин» был любимой драмой Пушкина; он ставил его выше «Ромео и Юлии».

Гоголь уехал.

— Вот и ваш певец! Это он причиной! — напустились дамы на Бодянского. — Второй раз не сдержал слова.

Бодянский не оправдывал земляка.

— Действительно, из рук вон, даже вовсе грубо и неприлично! — сказал он с сердцем. — То я винил Щепкина и его вареники; а тут, вижу, нечто иное — затесался, вероятно, в какую-нибудь невозможную компанию... Я же ему задам!..

На другой день после этого вечера тогдашний сотрудник «Москвитянина» Н. В. Берг пригласил меня, от имени С. П. Шевырева, на вечер к последнему. Здесь зашла опять речь о Гоголе, и Шевырев сообщил, что Гоголь, оставшись на днях недоволен игрою некоторых московских актеров в «Ревизоре», предложил, по совету Щепкина, лично прочесть главные сцены этой комедии Шумскому, Самарину и другим артистам.

Прошло еще два дня. Я уже со всеми простился и собирался уехать из Москвы, когда получил от Бодянского следующее письмо:

«4 ноября, 1851 года, воскресенье. Мне поручили просить вас завернуть к Аксаковым. Они имеют к вам просьбу о доставке одного письма к кому-то в Малороссию. Ваш весь — О. Б.». К этому письму, доставленному мне слугою Аксаковых, была приложена следующая записка, писанная в третьем лице Н. С. Аксаковой от имени ее матери: «Ольга Семеновна Аксакова, узнав, что г. Данилевский еще в Москве, просит его очень заехать к ней, если только у него есть свободная минута». Я ответил Бодянскому, что уезжаю 6 ноября и что завтра постараюсь быть в назначенное время у О. С. Аксаковой.

Вечером 5 ноября, в понедельник, я подъехал на Поварскую к квартире Аксаковых. Вышедший на мой звонок слуга объявил, что О. С. Аксакова очень извиняется, так как по нездоровью не может меня принять, а просит от имени Сергея Тимофеевича и Ивана Сергеевича пожаловать к Гоголю, куда они оба только что уехали и куда, по желанию Гоголя, они приглашают и меня. «Что же там?» — спросил я слугу. «Чтение какое-то». Я вспомнил слова Шевырева о предположенном чтении «Ревизора» и, от души обрадовавшись случаю не только снова увидеть Гоголя, но и услышать его чтение, поспешил на Никитский бульвар.

Это чтение описано И. С. Тургеневым в отрывках из его литературных воспоминаний. В описание И. С. Тургенева вкрались некоторые неверности, особенно в изображении Гоголя, на которого он в то время глядел, очевидно, глазами тогдашней враждебной Гоголю и дружеской ему самому критики. Он не только в лице Гоголя усмотрел нечто хитрое, даже лисье, а под его «остриженными» усами — ряд «нехороших зубов», чего в действительности не было, но даже уверяет, будто в ту пору Гоголь «в своих произведениях рекомендовал хитрость и лукавство раба». Вечер чтения он, также ошибочно, отнес к 22 октября; оно, как удостоверяют сохраненные у меня письма, было 5 ноября.

Чтение «Ревизора» происходило во второй комнате квартиры гр. А. П. Толстого, влево от прихожей, которая отделяла эту квартиру от помещения самого Гоголя.

Стол, вокруг которого на креслах и стульях уселись слушатели, стоял направо от двери, у дивана, против окон во двор. Гоголь читал, сидя на диване. В числе слушателей были: С. Т. и И. С. Аксаковы, С. П. Шевырев, И. С. Тургенев, Н. В. Берг и другие писатели, а также актеры М. С. Щепкин, П. М. Садовский и Шум-

ский. Никогда не забуду чтения Гоголя. Особенно он неподражаемо прочел монологи Хлестакова и Ляпкина-Тяпкина и сцену между Бобчинским и Добчинским. «У вас зуб со свистом», — произнес серьезно и внушительно Гоголь, грозя кому-то глазами и даже прищепывая при этом, будто и у него свистел зуб. Неудержимый смех слушателей изредка невольно прерывал его. Высокохудожественное и оживленное чтение под конец очень утомило Гоголя. Его сил как-то вообще хватало ненадолго. Когда он дочитал заключительную сцену комедии, с письмом, и поднялся с дивана, очарованные слушатели долго стояли группами, вполголоса передавая друг другу свои впечатления. Щепкин, отирая слезы, обнял чтеца и стал объяснять Шумскому, в чем главные силы роли Хлестакова. Я подошел к С. Т. Аксакову и спросил его, какое письмо он или его жена, по словам Бодянского, предполагали доставить через меня в Малороссию?

— Не мы, а вот Николай Васильевич имеет к вам просьбу, — ответил С. Т. Аксаков, указывая мне на Гоголя. — Бодянский не понял слов моей жены, ошибся. Нам поручили вас предупредить, если вы еще не уехали.

— Да, — произнес, обращаясь ко мне, Гоголь, — повремените минуту; у меня есть маленькая посылка в Петербург, к Плетневу. Я не знал вашего адреса. Это вас не стеснит?

Я ответил, что готов исполнить его желание, и остался. Когда все разъехались, Гоголь велел слуге взять свечи со стола из комнаты, где было чтение, и провел меня на свою половину. Здесь, в знакомом мне кабинете, он предложил мне сесть, отпер конторку и вынул из нее небольшой сверток бумаг и запечатанный сюргучом пакет.

— Вы когда окончательно едете из Москвы? — спросил он меня.

— Завтра, уже взято место в мальпосте.

— Отлично, это как раз устраивает мое дело. Не откажите, — сказал Гоголь, подавая мне пакет, — если только вас не затруднит, вручить это лично, при свидании, Петру Александровичу Плетневу.

Увидев надпись на пакете «со вложением», я спросил, не деньги ли здесь?

— Да, — ответил Гоголь, запирая ключом конторку, — небольшой должок Петру Александровичу. Мне бы не хотелось через почту.

Видя усталость Гоголя, я встал и поклонился, с целью уйти.

— Вы мне читали чужие стихи, — сказал Гоголь, приветливо глянув на меня, и я никогда не забуду этого взгляда его усталых, покрасневших от чтения глаз, — а ваши украинские сказки в стихах? Мне о них говорили Аксаковы. Прочтите что-нибудь из них.

Я, смутясь, ответил, что ничего своего не помню. Гоголь, очевидно желая во что бы то ни стало сделать мне что-либо приятное, опять посадил меня возле себя и сказал: «Кто пишет стихи, наверное их помнит. В ваши годы они у меня торчали из всех карманов». И он, как мне показалось, даже посмотрел на боковой карман моего сюртука. Я снова ответил, что положительно ничего не помню наизусть из своих стихов.

— Так расскажите своими словами.

Я передал содержание написанной мною перед тем сказки «Снегурка».

— Слышал эту сказку и я; желаю успеха, пишите! — сказал Гоголь. — В природе и ее правде черпайте свои краски и силы. Слушайте Плетнева... Нынешние не ценят его и не любят... а на нем, не забывайте, почиет рукоположение нашего первоапостола, Пушкина...

Я простился с Гоголем и более в жизни уже не видел его.

Возвратясь в Петербург, я в тот же день вечером отвез врученные мне сверток и пакет к Плетневу.

О свертке он сказал: «Знаю» — и положил его на стол. Распечатав пакет и увидев в нем пачку депозиток, Плетнев спросил меня: «А письма нет?» Я ответил, что Гоголь, передавая мне пакет, сказал только: «Должок Плетневу». Плетнев запер деньги в стол, помолчал и с обычною своею добродушною важностью сказал: «Как видите, он и здесь верен себе; это — его обычное, с оказиями, пособие через меня нашим беднейшим студентам. Фицтум раздает и не знает, откуда эти пособия». А. И. Фицтум был в те годы инспектором студентов Петербургского университета.

При отъезде из Москвы мне и в голову не приходило, что дни Гоголя сочтены. Он на глаза мои и всех, видевших его тогда и говоривших со мною о нем, был на вид совершенно здоров и только изредка впадал в недовольство собою и в хандру и легко уставал.

Помня обещание, данное мною Гоголю при Бодянском, а именно о присылке ему новых произведений А. Н. Майкова, я обратился к последнему с просьбою — дать мне для снятия верной копии рукопись его поэм. А. Н. Майков, по совету общего нашего ментора, профессора А. В. Никитенко, решил дать мне эти вещи для доставления в Москву не прежде, как он ознакомит с ними тогдашнего нашего общего начальника, А. С. Норова. Он прибавил, что кстати в это время займется и окончательною отделкой поэм. В конце января 1852 года я получил обещанное и известил Бодянского, что на днях высылаю Гоголю обе поэмы А. Н. Майкова, которые перед новым годом, как я писал Бодянскому, были посылаемы от Плетнева Жуковскому и заслужили большие похвалы последнего. Бодянский на это ответил мне нижеследующим письмом, которое лучше всего может показать, как мало в то время московские друзья Гоголя помышляли о близкой утрате последнего. Это письмо писано за девятнадцать дней до смерти Гоголя и, упо-

миная о нем «вскользь» — как об «источнике сладостей» — тем самым как бы говорило, что в обиходе этого источника все пока обстояло благополучно.

«Москва, 1852 года, февраля 2. — Да, почтеннейший земляк, время летит, а с ним и мы летим и улетаемся. Славные часы были по осени у нас, редкие часы! Хотя я тут же, у источника этих сладостей, а все с тех пор ни разу не привелось отведать от него. Причина простая — семейство певуны (Н. С. Аксаковой) живет большею частью в подмосковной. Что до Гоголя, то он, как вы знаете, живет на Никитском бульваре, в доме Талызина. Посылая ему произведения Майкова, не обойдите и меня. Я так мало имею случаев отведать подобного плода. Вкус Жуковского хорош; стало быть, вдвойне наслаждение — познакомиться с хвалимым и проверить хвалителя. Не забывайте вашего земляка. О. Б—й».

Недели через две с половиной по получении мною этого письма в Петербурге неожиданно с особым упорством заговорили о болезни Гоголя. Хотя этой болезни в то время не придавали особого значения, 18 февраля я обратился с письмом к И. С. Аксакову, прося его сообщить, чем именно заболел Гоголь и что случилось с его дальнейшею работой над «Мертвыми душами»? Ответ от Аксакова не приходил. И вдруг 24 февраля разнеслась потрясающая весть, что Гоголь 21 февраля скончался. Пораженный этим, я тогда же написал к Бодянскому, прося его скорее сообщить хотя некоторые сведения об этой неожиданной великой утрате. Вот ответ Бодянского:

«28 февраля, 1852 года, Москва. Вы желаете, чтобы я написал вам о последних минутах Гоголя, о моих последних свиданиях с ним, о его смерти и бумагах на Москве, потерявшей его. Не скажу, добродию, не скажу! И теперь я хожу, как угорелый, и на лекции по сю пору не соберусь никоим путем. Все он, один

он — в уме и в глазах! Когда-нибудь, может быть, соберусь с духом порассказать вам. Нынче же замечу только: недели за две до смерти покойник, видимо, чах; он предчувствовал недоброе и потому на Масленной говел и приобщился. В половине первой недели поста соборовался, а 21, в четверг, в восемь часов утра, его не стало. Болезнь — несварение желудка, от которой он не хотел вовсе лечиться. Последовало воспаление, за коим он впал в беспамятство. Всем нам едино — умереть. Но вот беда: он в ночь, часу во втором-третьем, сжег все свои бумаги дотла. Премного провинились окружавшие его, из коих одному он отдавал весь свой портфель, туго набитый; а тот, разумеется, поцеремонился, как сам потом имел еще дух рассказывать. Нема нашего Рудого Панька больше, дай не буде, пока свит стоять буде. Не забывайте вашего щирого земляка, О. Бодянского».

После я узнал, что Гоголь свои бумаги отдавал было хозяину своей квартиры, гр. А. П. Толстому; но тот, не желая показать виду, что считает положение своего гостя опасным, отказался их принять.

И. С. Аксаков на мои вопросы о болезни Гоголя ответил мне в том же феврале, но послал свой ответ уже в начале марта. Вот этот ответ: «Ваше письмо, любезнейший Г. П., было получено мною 21 февраля, в самый день смерти Гоголя. И как странно было мне читать это письмо, в котором вы беспрестанно о нем говорите, в котором просите матушку помолиться за Гоголя и за „Мертвые души“. Ни того ни другого больше не существует. „Мертвые души“ сожжены, самая жизнь Гоголя сгорела от постоянной душевной муки, от непрерывных духовных подвигов, от тщетных усилий отыскать обещанную им светлую сторону, от необъятности творческой деятельности, вечно происходившей в нем и вмещавшейся в таком скудельном сосуде. Сосуд не выдержал. Гоголь умер без особенной

болезни. Со временем вы узнаете все подробности его жизни, мученичества и кончины. В настоящее время едва ли прилично будет рассказывать о нем печатно нашему языческому обществу. Гоголь был истинный мученик искусства и мученик христианства. Художественная деятельность этого монаха-художника была истинно подвижническая. Теперь нам надо начинать новый строй *жизни — без Гоголя*. — Весь ваш душою — *Ив. Аксаков*».

Началась жизнь — «без Гоголя»... Отлично помню тогдашнее наше настроение. Мы, искренние поклонники великого писателя, были в неопisanном горе еще потому, что он умер, осыпaeмый бессердечными, злыми укоризнами и клеветами, не успев довести до конца своей главной, заветной работы. Вышла литография с изображением Гоголя в гробу. Ее раскупили нарасхват. Вслед за похоронами Гоголя произошел известный арест при полиции И. С. Тургенева и его высылка в деревню за напечатание им в Москве заметки об умершем Гоголе, не пропущенной цензурою в Петербурге. Некоторые придавали этому объяснение, будто бы Тургенев поплатился за то, что в своей невинной заметке назвал «великим» Гоголя, которого, как сатирика, недолюбливало тогда высшее начальство. Дело было несколько иначе. Автор заметки поплатился не за ее содержание, а за несоблюдение формальностей цензурного устава. Когда статью И. С. Тургенева цензура не пропустила в «С.-Петербургских ведомостях», я получил от тогдашнего издателя последних, А. А. Краевского, следующее письмо: «Мне бы очень нужно было сказать вам два слова, Г. П. Не можете ли завернуть ко мне сегодня, между 6 и 7 часами вечера? Пятница, 29 февраля. Ваш А. Краевский». Навестив г. Краевского, я узнал от него, что статью И. С. Тургенева, после ее задержания цензором, не одобрил и М. Н. Мусин-Пушкин, тогдашний попечи-

тель С.-Петербургского учебного округа и председатель с.-петербургского цензурного комитета. Мусин-Пушкин, к сожалению, как и некоторые другие его сверстники, смотрел тогда на Гоголя глазами враждебной последнему «Северной пчелы» и потому не особенно высоко ценил произведения автора «Мертвых душ» и «Ревизора». А. А. Краевский горячо встал в защиту как Гоголя, так и И. С. Тургенева, автора поминальной заметки о нем. Он, вручив мне оттиск задержанной статьи Тургенева, обратился ко мне с просьбою сообщить о ее задержании высшей инстанции, а именно товарищу министра просвещения А. С. Норову, при коем я тогда состоял на службе, и просить о его ходатайстве за пропуск этой вполне невинной статьи перед министром просвещения князем П. А. Ширинским-Шихматовым, которому в то время был предоставлен высший надзор за цензурою. Норов, совершенно разделяя взгляд г. Краевского, охотно взялся исполнить желание последнего и при первом же своем докладе сообщил это дело министру, ходатайствуя о пропуске остановленной статьи. Князь Ширинский-Шихматов не согласился на отмену распоряжения графа Мусина-Пушкина. Издатель «С.-Петербургских ведомостей» А. А. Краевский и их редактор А. Н. Очкин покорились этому решению. Но задержанная статья, однако, мимо их, 13 марта явилась в «Московских ведомостях», где ее пропустил к печатанию попечитель Московского учебного округа В. И. Назимов. Послали запрос в Москву. Назимов ответил, что ему не было известно о задержании статьи попечителем С.-Петербургского учебного округа и самим министром просвещения. Начальство сочло себя обиженным. Статья, остановленная в одном цензурном округе, не могла явиться в другом. Нашли, что автор заметки сознательно нарушил это цензурное правило, и ему, после его ареста в полови-

не апреля, предложили даже выехать из Петербурга в его орловское поместье.

Я был тогда уже вне Петербурга. Эта высылка всех поразила. Толковали не о простом нарушении цензурных формальностей, а о том, будто автор «Записок охотника» написал по поводу кончины Гоголя нечто невозможно резкое. Его статья недавно помещена в его «Воспоминаниях». В ней, кроме нескольких сердечных, теплых слов о Гоголе, ничего более нет.

Проездом в отпуск через Москву я навестил Бодянского и съездил с ним в Данилов монастырь, на могилу Гоголя.

— Вы едете в Харьковскую губернию? — спросил меня при этом Бодянский.

— Да, в окрестности Чугуева.

— Что бы вам, с вашего Донца, проехать в Полтаву? Побывали бы в деревне Гоголя. Там теперь его мать и сестры. Им будет приятно услышать о нем; лично видели его осенью.

— А и в самом деле, — сказал я. — Рудый Панько не одного меня, с нашего детства, звал к себе на хутор. Но как туда проехать?

Бодянский вызвался справиться о пути на родину Гоголя, предупредить о моем заезде его мать и сестер и прислать мне к ним письмо, а также подробный туда маршрут по почтовой дороге и проселкам. Он сдержал слово. Недели через две по прибытии на родину я получил от него обещанное письмо и маршрут и решил навестить мавивший меня с детства «хутор близ Диканьки».

II

Это было через два с половиною месяца по кончине Гоголя, в мае 1852 года.

Из-под Чугуева, где я гостил у своей матери, я отправился на почтовой перекладной через Харьков, в

Миргород, а оттуда на Колонтай, Опошню и Воронянщину, в село Яновщину (Васильевка тож), на родину Гоголя, близ Диканьки. Дорога от реки Ворсклы шла Кочубеевскими степями. Поля в ту весну еще не видели косы и пышно зеленели. Цветы пестрели роскошными коврами. Голова кружилась от их благоухания.

Был полдень. Лошади лениво тащились, срывая на ходу головки махровых султанчиков. Из тележки, слегка нагибаясь, я нарвал целый их букет. Невольно вспоминались картины из «Тараса Бульбы». Те же пышные кусты репейника, будто косари в алых шапках, торчали над травой, с своими колючими косами; тот же длинный желтый дрок и белая кашка. Огромная дрохва, как страус, подняв голову, осторожно пробиралась по зеленеющей пшенице, невдали от телеги. Стаи кузнечиков, поднимаясь с дороги перед лошадьми, летели и падали в траву голубыми и розовыми крылатыми ракетами.

— Где хутор Гоголя? — спрашивал я изредка встречавшихся путников.

— Гоголя? Не знаем! — отвечали они.

Я догадался объяснить, что хутор называется Васильевка или Яновщина.

— Яновщина? Знаем, пане, знаем! Вот туда дорога.

И мне указали проселок к Гоголю-Яновскому, в село Васильевку Рудого Панька.

От Опошни до с. Воронянщины я ехал вследствие нестерпимого жара почти шагом. Всю дорогу за мною, сидя на возу с корзинами спелой шелковицы, ехал на волах толстый поселянин-казак, свесив ноги с воза, лениво сторбясь, напевая и покачиваясь от одолевавшей его дремоты. Встречавшиеся на пути толчки будили его; он просыпался и снова пел одно и то же.

Стало прохладнее. Я поехал рысью.

До села Яновщины оставалось версты три. Оно было спрятано за косогором.

Я остановился в соседнем хуторе Воронянщина вследствие соскочившей колесной гайки, которую ямщик пошел отыскивать. Я присел в тени, на призбе ближайшей хаты. Ее хозяйка, с грудным ребенком на руках, приветливо разговорила со мною из сеней, где в прохладе сидели ее другие дети. Зашла речь о ее соседе, Гоголе-Яновском.

— То неправда, что толкуют, будто он умер, — сказала она, — похоронен не он, а один убогий старец; сам он, слышно, поехал молиться за нас, в святой Иерусалим. Уехал и скоро опять вернется сюда.

Странная вещь. Соседние хуторяне, как я удостоверялся в то время, действительно, может быть, ввиду частого и продолжительного пребывания Гоголя за границей, долго были убеждены, что он не умер, а находился в чужих краях. Некоторые из них, обязанные ему чем-нибудь в жизни, даже гадали по нем, ставя на ночь пустой поливанный горшок и сажая в него паука. Об этом мне передала мать Гоголя, которую все соседи близко знали и любили. По местному поверью, если паук вылезет ночью из горшка с выпуклыми, скользкими стенками, то человек, по котором гадают, жив и возвратится. Паук, на которого хуторянами было возложено решить, жив ли Рудый Панько, ночью заткал паутиною бок горшка и по ней вылез; но Гоголь, к огорчению гадавших, не возвратился.

Хутор Яновщина выглянул наконец между двух зеленых отлогих холмов. С дороги стала видна на широкой поляне каменная церковь с зеленою крышей. За церковью, спадая в долину, виднелись белые избы хутора, вперемежку с садами; слева от церкви — левада, род огромного огорода, обсаженная со стороны хутора липами и вербами. Ограда церкви — сквозная, в виде решетки, из окрашенных желтою и белою краскою кирпичей. На пути к церкви, примыкая к избам хутора, виднелась другая ограда. За нею показался господ-

ский деревянный дом с красною деревянною крышею, в один этаж; направо от него — флигель, налево — хозяйские постройки: кухня, амбар и конюшня. За домом, спускаясь к болотистому логу, зеленел старый тенистый сад; за садом виднелись вырытые в долине пруды; за ними — неоглядные зеленые равнины украинской степи. Пруды вырыл отец Гоголя, бывший усердным хозяином.

Я въехал во двор. По его траве бегали дворовые ребяташки. Телега остановилась у крыльца. Я встал, отряхав с себя густую дорожную пыль. Никто не слышал стука телеги, и я тщетно посматривал, к кому обратиться с вопросом о хозяевах. Все было тихо. Чуть шелестели листья ясеней у садовой ограды. Звонко куковала кукушка в деревьях за церковью. Я вошел в дом. Меня встретили в трауре мать и две девицы — сестры покойного Гоголя, Анна Васильевна и Ольга Васильевна. Его третья сестра, Елизавета Васильевна, при его жизни, минувшею осенью, вышла замуж за г. <Вл. И.> Быкова и тогда находилась в Киеве. Я вручил матери Гоголя письмо Бодянского. После первых приветствий мне дали умыться, переодеться, закусить. В гостиной за чаем меня осыпали вопросами о моих осенних встречах с Николаем Васильевичем. Оказалось, что Шевырев, видевшийся с Бодянским после моего проезда через Москву, предупредил мать Гоголя о моем заезде, и меня здесь уже ожидали. Эти черные шерстяные платья, эти полные горькой скорби лица и эти слезы близких великого писателя потрясли меня до глубины души. Марья Ивановна, мать Гоголя, говорила о сыне с глубоким, почти суеверным благоговением.

— Моего сына, — сказала она, отирая слезы, — знал сам государь и за его писательство велел считать его на службе и отпускать ему жалованье. Не пожил покойный, не послужил родине!

— Ваш сын долго отсутствовал за границей?

— Почти восемнадцать лет; но он и там служил пером своей родине.

Мы прошли в сад. Но прежде опишу дом. Гоголь в последние четыре года в свои приезды к матери обыкновенно помещался во флигеле, направо от большого дома. Здесь он, по словам его близких, работал и над вторым томом «Мертвых душ», с 20 апреля по 22 мая 1851 года, в последнее свое пребывание в Яновщине.

Флигель — низенькое, продолговатое строение, с крытою галереей, выходящею во двор. Ветхие ступени вели на крыльцо; из небольших сеней был вход в просторную комнату, род залы, а отсюда в гостиную.

В этой гостиной и в кабинете — поочередно — работал и отдыхал Гоголь. Постоянно тревожное его настроение, по словам его матери, в последний его заезд сюда заставляло его нередко менять свои рабочие комнаты. Так же точно он, по ее словам, не мог несколько ночей сряду и спать в одной и той же комнате. Трудно это приписать, как это объясняли впоследствии, мухам, которых на юге весною почти не бывает, или беспокойству от солнечных лучей; во всех комнатах флигеля я застал в мой заезд на окнах занавески. Окна гостиной выходили в особый палисадник у флигеля, огражденный высокими тополями. За ними был вид на избы хутора и на степь.

Кабинет во флигеле был расположен в другом конце здания и имел особый выход в сад. Здесь более всего оставался Гоголь. В последнее свое пребывание в Васильевке он отсюда не выходил иногда по целым дням, являясь в дом только к обеду и вечернему чаю. Это — комната в десять шагов длины и в четыре шага ширины. Два небольших ее окна выходят во двор; между ними зеркало. На окнах белые кисейные занавески. Влево от двери — печь; вправо — дубовый

шкаф для книг. Этот шкаф был заказан Гоголем летом 1851 года и окончен уже без него. Влево от печи стояла деревянная, простая кровать, покрытая ковром. Кроме писания, во флигеле Гоголь усердно занимался в последнее время улучшением фабрикации домашних ковров — сам рисовал для них узоры, — и это занятие, с разведением деревьев в саду, составляло его главное удовольствие в немногие часы его отдыха. Над кроватью в углу висел образ св. угодника Митрофания. Рабочий стол Гоголя помещался между печью и кроватью, у забитой лишней двери. Это — на высоких ножках конторка из грушевого дерева, с косою доской, покрытою кожей. На верхней части конторки с двух сторон вделаны чернильница и песочница. На стене, над конторкою, висел привезенный Гоголем из Италии нерукотворенный образ Спасителя, писанный масляными красками.

Дом, где помещались мать и сестра Гоголя, выстроен удобно. По стенам были развешаны старинные портреты Екатерины Великой, Потемкина и Зубова и английские гравюры, изображающие рыночные и рыбацьи сцены в Англии. В зале стоял рояль, за которым Гоголь, по словам его матери, иногда любил наигрывать и петь свои любимые украинские песни, особенно веселые и плясовые.

— Он иногда смешил нас до упаду, — сказала мне М. И. Гоголь, — сам казался весел, хотя в душе оставался постоянно задумчивым и печальным.

Кстати о матери Гоголя. Она — урожденная Косяровская, дочь чиновника. Когда я впервые увидел ее по приезде в Яновщину, меня поразило ее близкое сходство с ее покойным сыном: те же красиво очерченные крупные губы, с чуть заметными усиками, и те же карие нежно-внимательные глаза. Она была в белом чепце и без малейшей седины. Ее полные, румяные, без морщин, щеки говорили, как была в молодости

сти красива эта, еще и в то время замечательно красивая, женщина.

— Покойный брат, — сказала мне старшая сестра Гоголя, когда мы вышли в сад, — все затевал исправить, перестроить дом: переделать в нем печи, переменить двери, увеличить окна и перебрать полы. Зимой у вас холодно, писал он, надо иначе устроить сени. Оштукатурили мы дом особым составом, по присланному им из-за границы рецепту. Сам он не выносил зимы и любил лето — ненатопленное тепло.

Старый, дедовский сад, где так любил гулять Гоголь, расположен во вкусе всех украинских сельских садов. Его деревья высоки и ветвисты. По сторонам тенистой дорожки, идущей вправо от садового балкона, Гоголь в последнее здесь пребывание посадил с десятков молодых деревьев клена и березы. Далее, на луговой поляне, он посадил несколько желудей, давших с новою весной свежие и сильные побеги. Влево от балкона другая, менее тенистая дорожка идет над прудом и упирается во второй, смежный с ним пруд. По этой дорожке особенно любил гулять Гоголь. Возле нее, на пригорке, стояла деревянная беседка, разрушенная бурей вскоре за последним отъездом Гоголя из Яновщины. Тут же, недалеко, в тени нависших лип и акаций, был устроен небольшой грот, с огромным диким камнем у входа. На этом камне Гоголь, по словам его матери, играл, будучи еще ребенком по третьему году. Через сорок лет после этой поры он любил садиться на этот камень, любясь с него видом прудов и окрестных полей.

На дальнем пруде, за садом, стояла купальня. К ней ездили на небольшом двухвесельном плоту. Купальню Гоголь устроил для себя, но пользовался ею не более трех раз. За прудом — широкая поляна, обсаженная над берегом вербами и серебристыми тополями, за которыми Гоголь ухаживал с особым участием.

— Вот туда, за церковь, — заметила Марья Ивановна, указывая. — Сын любил по вечерам один ходить в поле.

Это был проселок в деревни Яворовщину и Толстое, куда нередко, в прежнее время бывая здесь, Гоголь хаживал пешком в гости, своеобразно рассказывая друзьям, как он совершал возвратный путь, пополам «с подседом на чужие телеги», а потом опять «с напуском пехондачка». За последние годы он почти никого не посещал из соседей.

Гоголь в деревне вставал рано; в воскресные дни посещал церковь; в будни тотчас принимался за работу, не отрываясь от нее иногда по пяти часов сряду. Напившись кофе, он до обеда гулял. За обедом старался быть веселым, шутил, рассказывал импровизованные анекдоты и все передвечернее время оставался в кругу семьи, хотя иногда среди близких, как и среди знакомых, любил и просто помолчать, слушая разговоры других. Вечером он опять гулял, катался на плоту по прудам или работал в саду, говоря, что телесное утомление, «рукопашная работа» на вольном воздухе освежают его и дают силу писательским его занятиям. Гоголь в деревне ложился спать рано, не позже десяти часов вечера. Оставаясь среди семьи, он в особенности любил приниматься за разные домашние работы; кроме рисования узоров для любимого его матерью тканья ковров он кроил сестрам платья и принимал участие в обивке мебели и в окраске оштукатуренных при его пособии стен. Я застал гостиную в доме его матери, раскрашенную его рукой в виде широких голубых полос по белому полю, зал с белыми и желтыми полосами.

Из соседей Гоголя немногие посещали его. Иные боялись обеспокоить его среди литературных занятий, другие, из старых друзей, в то время не жили в своих поместьях, а третьи, по странному мнению о ха-

рактуре сатирических писателей, просто боялись его. Вообще соотечественники-полтавцы чуждались и недолюбливали его. Да и Гоголь, особенно после изданной им «Переписки с друзьями», упорно избегал свидания с соседями, говоря в шутку сестрам, что, прежде чем явится кто-либо из окрестных знакомых, того и гляди уже выскочит «длинноязыкая бестия — черт», распускающий сплетни. Посторонними собеседниками Гоголя из его соседей изредка были большею частью простолюдины-хуторяне, убогие и несчастные, которым он часто помогал. Оба священника села Васильевки, в последние заезды сюда Гоголя, были отъявленные пьяницы. Поневоле он переписывался с отдаленным священником города Ржева.

К украшениям дома в Яновщине, в последнее здесь пребывание Гоголя, прибавились: его чрезвычайно схожий портрет, писанный в 1840 году масляными красками Моллером (этот портрет был привезен Гоголем в подарок матери из Петербурга), и трость из пальмовой ветви, с которою Гоголь путешествовал по Святой земле.

— Мы его с прошлой осени ждали на всю зиму в деревню, — сказала мне мать Гоголя, — он сперва думал ехать в Крым, хотя говорил, что Крым прелесть, но без людей там — тоска. Зимой он почти никогда не жил в деревне.

— Почему?

— Он это объяснял тем, что в деревне в ненастную погоду он более хворает, чем в городе. Ему каждый день были нужны прогулки, и он предпочитал Москву, где все дома просторнее и теплее и где для прогулок пешком устроены хорошие тротуары.

— Он и при мне выражал сожаление Бодянскому, — сказал я, — что не попал на свадьбу сестры по нездоровью и из-за осенней погоды.

— А уж как он этого хотел, — заметила мать Гоголя, — мечтал в подарок новобрачной купить неболь-

шую коляску и в ней приехать на свадьбу. На покупку у него, очевидно, не хватило денег.

Гоголь, посылавший через меня Плетневу пособие бедным студентам, действительно сам нуждался в средствах к жизни. Надо вспомнить, что в то же время книгопродавцы, скупившие остатки последнего издания его сочинений, распускали слух, что нового издания почему-то не будет, и продавали каждый его экземпляр по сто рублей.

Гоголь, по словам его матери, родился 19 марта, в 1809 году, в селе Сорочинцах, в двадцати верстах от Яновщины. Через три года исполнится восемьдесят лет со дня его рождения. Марья Ивановна Гоголь имела до него других детей, из которых ни один не жил более недели, вследствие чего появление на свет нового дитяти она ожидала с грустным и тяжелым раздумьем, будет ли ему суждено остаться в живых? Родился мальчик, которого называли Николаем. Новорожденный был необыкновенно слаб и худ. Долго опасались за его жизнь. Через шесть недель он был перевезен в родную Васильевку-Яновщину. Несмотря на слабый организм, он, однако, скоро показал, что не в теле сила человека. Трех лет от роду он уже сносно разбирал и писал слова мелом, запомнив алфавит по рисованным, игрушечным буквам.

Пяти лет от роду Гоголь, по словам его матери, вздумал писать стихи. Никто не помнил, какого рода стихи он писал. У его домашних осталось воспоминание, что известный украинский литератор <В. В.> Капнист, заехав однажды к отцу Гоголя, застал его пятилетнего сына за пером. Малютка Гоголь сидел у стола, глубокомысленно задумавшись над каким-то писанием. Капнисту удалось, просьбами и ласками, склонить ребенка-писателя прочесть свое произведение. Гоголь отвел Капниста в другую комнату и там прочел ему свои стихи. Капнист никому не сообщил о

содержании выслушанного им. Возвратившись к домашним Гоголя, он, лаская и обнимая маленького сочинителя, сказал: «Из него будет большой талант, дай ему только судьба в руководители учителя-христианина!» Склонность Гоголя к стихам проявлялась в нем впоследствии еще не один раз. По словам его матери, он в Нежинском лицее написал стихотворение «Россия под игом татар». Эту никогда не напечатанную вещь Гоголь тщательно переписал в изящную книжечку, украсил ее собственными рисунками и переслал матери из Нежина по почте. Из всего содержания этой поэмы, увезенной им впоследствии из Яновщины и, вероятно, истребленной, мать покойного вспомнила мне только окончание, а именно следующие два стиха:

Раздвинув тучки среброрунны,
Явилась трепетно луна.

Гоголь, начав впоследствии писать исключительно прозой, обыкновенно молчал о своих первых стихотворных попытках. О сожжении им изданной своей поэмы «Ганц Кюхельгартен» мне рассказал свидетель этого аутодафе, его бывший камердинер и повар Яким, состоявший во время моего приезда в Яновщину дворецким и ключником. Застенчивый и робкий Яким передал мне, что его покойный барин однажды в Петербурге пришел домой сильно не в духе и послал его скупать и отбирать по книжным лавкам отданные на комиссию книгопродавцам синенькие книжки, на которых было заглавие «Ганц Кюхельгартен». Были собраны, привезены и без всякого сожаления сожжены около шестисот этих книжек. Кстати об этом Якиме. Узнав, в 1837 году, о смерти Пушкина, он неутешно плакал в передней Гоголя.

— О чем ты плачешь, Яким? — спросил его кто-то из знакомых.

— Как же мне не плакать... Пушкин умер.

— Да тебе-то что? Разве ты его знал?

— Как что? И знал, и жалко. Помилуйте, они так любили барина. Бывало, снег, дождь и слякоть в Петербурге, а они в своей шинельке бегут с Мойки, от Полицейского моста, сюда, в Мещанскую. По целым ночам у барина просиживали, слушая, как наш-то читал им свои сочинения, либо читая ему свои стихи.

Зная об этом слуге Гоголя от Плетнева, я стал спрашивать Якима о времени знакомства Гоголя с Пушкиным. По словам Якима, Пушкин, заходя к Гоголю и не заставляя его, с досадою рылся в его бумагах, желая знать, что он написал нового. Он с любовью следил за развитием Гоголя и все твердил ему: «Пишите, пишите», а от его повестей хохотал и уходил от Гоголя всегда веселый и в духе. Накануне отъезда Гоголя, в 1836 году, за границу, Пушкин, по словам Якима, просидел у него в квартире, в доме каретника Иохима, на Мещанской, всю ночь напролет. Он читал начатые им сочинения. Это было последнее свидание великих писателей. В 1837 году Пушкин скончался. Гоголь, по возвращении из чужих краев, уже не застал его в живых.

Мать Гоголя мне передавала, что первые годы отрочества он провел со своим младшим, рано умершим братом, Иваном. Отец Гоголя, едзя в поле с сыновьями, иногда задавал им дорогою темы для стихотворных импровизаций: «солнце», «степь», «небеса». Старший сын отличался находчивостью в ответах на такие задачи. Гоголь-отец сам сочинял театральные комические пьесы для домашней сцены в семействе Троцинских, которые оказывали особенное внимание ему и его старшему сыну. Комедии своего покойного отца Гоголь взял с собою от матери при отъезде в Петербург, для того чтобы их напечатать. Неизвестно, какой участи они подверглись, так как впоследствии

никто их не видел, за исключением выписок из них, послуживших эпиграфами к некоторым из повестей Гоголя.

Смерть младшего брата до того поразила отрока Гоголя, что были принуждены отвезти его в Нежинский лицей, чтобы отвлечь мысли его от могилы брата. Здесь Гоголь вскоре оправился и из хилого, болезненного ребенка стал сильным, веселым и падким до разных потех и шалостей юношей. Страстный поклонник всего высокого и изящного, он на школьной скамейке тщательно переписывал для себя на самой лучшей бумаге, с рисунками собственного изобретения, выходившие в то время в свет поэмы: «Цыганы», «Полтава», «Братья разбойники» и главы «Евгения Онегина». По окончании курса в Нежинском лицее Гоголь у матери отпросился в Петербург, где некоторое время усердно занимался живописью и иностранными языками.

В 1829 году Гоголь неожиданно уехал за границу. Добравшись до Любека, он написал матери покаянное письмо (она мне давала его читать), изложил в нем свои разочарования в местах, к которым он так жадно стремился, приложил к письму очерк улицы, в которой остановился, и, увидев близкий конец своих скудных денежных средств, с грустью возвратился в Петербург.

...Набросав давно эти воспоминания, я не решался их печатать, не собрав сведений о дальнейшей судьбе семейства Гоголя.

...Минувшим летом я узнал, что в настоящее время в Полтавской губернии благополучно здравствуют две сестры Гоголя, которых я тридцать четыре года назад видел в Яновщине, а именно: Анна Васильевна Гоголь — в городе Полтаве и Ольга Васильевна Головня — в родном их селе Васильевке.

На мои обращения с вопросами в Полтаву, я получил от почтенной Анны Васильевны Гоголь ответ, за который приношу ей глубочайшую признательность. Привожу отрывки из ее писем ко мне, давших мне возможность значительно дополнить мою статью. Ан. В. Гоголь мне написала, между прочим, в августе и сентябре этого года следующее:

«Как я вам благодарна, что вы прислали мне прочесть ваши воспоминания! Отвечаю по пунктам на ваши вопросы.

Наша мать умерла, 76-ти лет, в 1868 году, в деревне Васильевке, скоропостижно, на первый день Светлого праздника; вероятно, не побереглась после семинедельного поста. Она до смерти была очень моложава и бодра; у нее не было морщин и седины. С нею тогда жила меньшая наша сестра Ольга, с мужем, отставным майором Головня, который держал наше имение в аренде. Сестра Ольга с тех пор овдовела и имеет трех детей, замужнюю дочь и двух сыновей, Николая и Василия Яковлевичей, служащих в Ахтырском драгунском полку, в Белой Церкви. Наша деревня Васильевка разделилась на две части — сестре Ольге и старшему сыну покойной сестры Елизаветы Васильевны Быковой, Ник. Влад. Быкову, который женат на Марье Александровне Пушкиной, *внучке поэта*.

По жребию старая усадьба (двор, сад и пр.) досталась сестре Ольге, а племянник Николай Быков построил себе новую усадьбу, за прудом, в другом саду, где теперь и живет, имея двух малолетних детей, сына Александра и дочь Елизавету. Он служил в Нарвском гусарском полку во время командования им А. А. Пушкиным (сыном поэта), где и женился на его дочери. Недавно он был в Москве и уступил там от нас право на издание сочинений покойного брата книгопродавцу Думнову, наследнику фирмы братьев Са-

лаевых. До этого изданиями сочинений брата заведовал И. С. Аксаков.

Старая наша усадьба в запустении, особенно флигель для гостей, в котором брат останавливался в последнее время. Сад запущен, заглох; гротик завалился. Старый повар Яким умер в прошлом, 1885-м году, в деревне, у женатого своего сына...

Ник. Павл. Трушковский, сын старшей нашей сестры, Марьи Васильевны, умершей в 1844 году, остался круглым сиротой с одиннадцати лет; учился в гимназии, потом в Казанском университете, по факультету восточных языков; кончил курс в С.-Петербургском университете кандидатом. Он занимался изданием сочинений покойного брата, но заболел и умер в помещательстве. Я с моею матерью ездила за ним в Москву. Это была славная личность! Я его очень любила.

Из соседей, знакомых брата, никого уже нет в живых. В деревне Толстое, в шести верстах от нас, жили Черныши, которых брат любил. Особенно же был дружен с детства с А. С. Данилевским. Не знаю, жив ли последний? Он ослеп и жил в Сумском уезде, у родных жены; у них было трое детей. Приезжая в деревню летом, в последние четыре года брат прежних знакомых уже не нашел, а новых знакомств не любил; рад был, что наша деревня в глуши, не на большой дороге.

...Брат никогда не любил говорить о своих сочинениях; даже намек о них не допускал. Если, бывало, кто-нибудь заговорит о них, он хмурился, переменял разговор или уходил. В последнее время его письма были всегда грустные и строгие, а прежде в институт он нам писал веселые письма и часто шутил, особенно с сестрою Е. В. Быковой. Письма брата к нам потом в деревню были наполнены наставлениями. Он боялся, чтобы мы не скучали, весь день были бы в занятиях и более делали бы моциона; боялся, чтобы нас

не занимали наряды, и внушал нам, что очень стыдно при ком-нибудь говорить о нарядах.

...Брат считал нас, двух сестер (Елизавету и Анну), своими воспитанницами, потому что сам поместил нас в институт в Петербурге. Он заставлял нас переводить. Дал мне раз немецкую статью, где сравнивали брата с Погодиным. И когда я затруднилась перевести фразу: „Pogodin ist ein umgekehrter Gogol“, он посоветовал мне перевести так: „Погодин — вывороченный Гоголь“. При этом он старался нас уверить, что наши переводы „очень нужны“, сам их поправлял и давал нам награды за них. Бумаги брата, бывшие в его чемодане, пропали; цел один чемодан».

...Русские читатели, без сомнения, с особым удовольствием узнают из вышеприведенных мною писем Анны Васильевны Гоголь, что внучка великого нашего поэта, Пушкина, сочеталась браком с племянником другого великого русского писателя, Гоголя, бывшего некогда в искренней дружбе с Пушкиным. Последний, как известно, еще при жизни уже духовно сроднился с Гоголем: он дал ему сюжеты лучших его произведений — «Мертвых душ» и «Ревизора».

КОММЕНТАРИИ

Григорий Петрович Данилевский (1829–1890) родился в селе Даниловка Изюмского уезда Слободско-Украинской губернии (в XVI в. в эти места слободами переселялись украинские казаки с левого берега Днепра, принадлежавшего Польше) и был потомком казацкого сотника Данилы Данилевского. Детство будущего писателя прошло на Украине, а в 1841 г. отчим определил его в московский Дворянский институт. По окончании института Данилевский уговорил родителей, стесненных в средствах, разрешить ему продолжить учебу в Петербургском университете.

В 1846 г. Данилевский поступил на недавно открытое отделение юридического факультета Петербургского университета. Стремление к блестящей служебной карьере, которая в итоге у него сложилась, не мешало литературным занятиям. Во время учебы в университете Данилевский пробовал себя в разных жанрах: писал стихи, заметки и фельетоны, опубликовал поэму из мексиканской жизни «Гвая Ллир», цикл очерков «Письма из степной деревни». Со временем Данилевский становится постоянным сотрудником журнала «Библиотека для чтения» и «Ведомостей Санкт-Петербургской городской полиции», печатается и в ряде других изданий. Все это, как и переводы шекспировских драм «Ричард III» и «Цимбелин», большого успеха ему не принесло. О начале своей литературной деятельности Данилевский впоследствии говорил: «Тут следует темная сторона: всякие литературные промахи, жалкие повестцы, писанные по памяти о крае, виденном в детстве, и с рутинными приемами, в силу воспоминаемого в душном кабинетике, на 4-м этаже петербургской квартиры; тут следуют гадкие шата-

ния по гадким литературным кружкам, продажа свежести и молодости в фельетонишках; словом, всякие грехи...»¹

Ректор Петербургского университета П. А. Плетнев в письме к известному филологу Я. К. Гроту так отзывался о ранних произведениях своего студента: «Данилевский для меня странный молодой человек. С виду он отлично порядочный малый. Хотя в университете слушает он лекции по II отделению философского факультета, но любит литературу, много читает и сам пишет. Между тем в его сочинениях подле хорошего встречается такая путаница и мелкоумие, что не разгадаешь, как это выходит из одной и той же головы, организованной добропорядочно. Прочитай в акте нашего университета за 1847 год мой отзыв о диссертации этого самого Данилевского, где он рассуждает о Крылове и Пушкине. Еще нелепее печатал он нынешним летом в „Полицейской газете“ свои впечатления во время поездки в Гельсингфорс. Уж видно, такова судьба молодого поколения, что оно поминутно впадает в нелепости»². Между тем за конкурсное сочинение о Крылове и Пушкине, предложенное философским факультетом, Данилевский получил серебряную медаль.

Будучи студентом третьего курса, в апреле 1849 г. он был арестован по знаменитому делу петрашевцев (участников революционного кружка М. В. Буташевича-Петрашевского) и заключен в Петропавловскую крепость³. Причины ареста Данилевского точно неизвестны. Лишь в июле (через два с половиной месяца) следственная комиссия решила освободить Данилевского и ходатайствовала перед Николаем I о том, чтобы «содержание в крепости не имело никакого влияния на его будущность».

После окончания университета Данилевский по рекомендации П. А. Плетнева поступил на службу канцелярским

¹ Письма к А. В. Дружинину. 1850–1863. М., 1948. С. 115.

² Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым: В 3 т. Т. III. СПб., 1896. С. 299–300.

³ О том, какое значение правительство придавало деятельности петрашевцев, свидетельствует хотя бы тот факт, что Ф. М. Достоевский как один из членов кружка был приговорен к «смертной казни расстрелянием», замененной четырехлетней каторгой с лишением «всех прав состояния» и последующей сдачей в солдаты.

чиновником в Министерство народного просвещения, а уже через год получил должность чиновника особых поручений при товарище министра. Знакомство с Гоголем, которое состоялось за полгода до его смерти, осенью 1851 г., дало новый импульс литературной деятельности молодого писателя: «Он <Гоголь. — А. С.> мне давал много советов, говорил о своих трудах, поправил мою пьесу и отпустил с благословением на труды». В рассказах и повестях Данилевского из украинской жизни, объединенных в сборнике «Слобожане» (книга была раскуплена за два месяца), заметно влияние гоголевской поэтики; он пишет статьи об истории Украины, собирает фольклор, переводит на русский язык малороссийские сказки.

В 1857 г., достигнув чина надворного советника, Данилевский решил оставить служебную карьеру. Он вышел в отставку и уехал в свое имение в Харьковскую губернию. Родным такое решение он объяснил желанием посвятить себя литературе: «Я сделал в литературе столько, что теперь мне или нужно бросить ее, растоптать и забыть навсегда, или смело бросить все, что помешает вдохновенному и тихому шествию дарования, и отдаться ей одной, безраздельно и навеки; иначе — жизнь моя в собственных глазах моих будет бесчестна и кончится посредственностью, дилетантизмом, я сделаюсь артистом, которого будут помнить табачные ноздри геморроидальных сослуживцев да два-три памятливых родственника...»¹ По его мнению, «литератор выше всякого чиновника; литератор тот же честный чиновник великого Божьего государства, но его поприще выше всякого другого».

Данилевский всегда оставался как бы в стороне от литературной и политической борьбы тех лет, не входил ни в какие кружки и партии, его нельзя назвать в числе писателей, для которых литература была формой «общественного служения» (за это его часто упрекали). И тем не менее он никогда не был в стороне от общественной жизни. Вернувшись на родину, он принял самое активное участие в работе Харьковского губернского комитета как представитель

¹ Цитируется по биографическому очерку С. С. Трубачева (см.: *Данилевский Г. П.* Полн. собр. соч. Т. 1–24. СПб., 1902. Т. 1. С. 36.).

от дворянства, его избрали членом училищного совета, губернским гласным, почетным мировым судьей, членом земской управы...

Свое отношение к крестьянской реформе 1861 г. Данилевский выразил в романах «Беглые в Новороссии» (1862) и «Беглые воротились» (1863). Оба романа были опубликованы в журнале «Время» (его издавали М. М. и Ф. М. Достоевские). Позднее Данилевский писал: «Освободительная пора 1850-х годов дала мне возможность посвятить свои первые романы рассказам о судьбе крепостных людей, исстари искавших спасения и лучшей жизни в бегстве на новые далекие, привольные места».

Салтыков-Щедрин указывал на склонность автора к внешнему заострению и запутанности сюжета, художественную необязательность некоторых сцен (Современник. 1863. № 12), а в рецензии «Отечественных записок» (1864. № 8) Данилевский был иронично назван «русским Купером». Однако диалогия пользовалась огромным успехом у читателей. По существу, критики отметили специфические черты художественной манеры Данилевского — интерес к авантюрной фабуле, детализации быта, — которые в значительной мере определяют построение его исторических романов.

В 1869 г. Данилевский возвратился в Петербург. 3 декабря 1869 г. он писал своему издателю М. М. Стасюлевичу: «12-летнее пребывание в провинции, куда вы некогда меня сопровождали напутственными строками в моем альбоме, принесло мне немало пользы, вместе с служением в различных выборных должностях, по крестьянской, судебной и земской реформам. Я сказал себе — довольно! и возвратился в Петербург для большего служения литературе»¹.

Он поступил на службу чиновником особых поручений в Министерство внутренних дел. На этот раз карьера чиновника связана и с литературными интересами писателя: он прикомандирован к газете «Правительственный вестник». Данилевский стал помощником редактора, а с 1881 г. занял

¹ М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке: В 5 т. СПб., 1913. Т. V. С. 306.

должность главного редактора газеты, которой будет руководить до самой смерти, дослужившись до чина тайного советника. Кроме того, он входит в совет Главного управления по делам печати.

Постепенно Данилевский все более сосредоточивался на исторической тематике, получив доступ к секретным архивным документам. Первые опыты в исторической беллетристике относятся еще к 1850-м гг., а в 1875 г. Данилевский пишет роман «Мирович», рассказывающий о попытке гвардейского офицера освободить из Шлиссельбургской крепости низвергнутого императора Ивана Антоновича. Далее последовали романы: «Княжна Тараканова» (1883), основанный на легенде о внебрачной дочери императрицы Елизаветы Петровны и графа А. Г. Разумовского, «Сожженная Москва» (1886), посвященный событиям 1812 г., «Черный год» (1888–1889) — о крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачева. Эти произведения переиздаются до сих пор. Еще два романа — «Восемьсот двадцать пятый год» (1883) и «Царевич Алексей» (1892) — остались незаконченными. Кроме того, Данилевский публиковал исторические повести и исследовательские статьи по вопросам истории.

В 1879 г. Данилевский объединил несколько своих произведений в цикл «Святочные вечера». Жанр святочного рассказа, к которому обращается Данилевский, — один из самых популярных в массовой литературе XIX в., он генетически связан с народными легендами и быличками о борьбе человека с нечистой силой, о различных таинственных происшествиях, которые было принято рассказывать зимними праздничными вечерами. Святки — период времени от Рождества Христова (25 декабря / 7 января) до Крещения Господня (6/19 января), приуроченный к зимнему солнцевороту, открывающий народный солнечный год. Святочный цикл воспринимался как граница между старым и новым солнечным годом, как «плохое время», своего рода безвременье. Верили, что в эти дни нечистая сила становится особенно опасной и может проникать в мир людей, поэтому Святки были насыщены различного рода обрядами, магическими действиями, запретами, гаданиями. Народные

представления нашли отражение и в литературном святочном рассказе¹.

Но вклад Данилевского в развитие этого жанра не ограничивается только названным циклом. Данилевский разрабатывает различные жанровые модификации святочного рассказа, интерес к которому у писателя возникает в разные периоды творчества. Менялась и содержательно-философская трактовка сюжетов, менялось и само отношение автора к чудесному, фантастическому, сверхъестественному — главной теме святочных рассказов. Так, в раннем рассказе «Бес на вечерницах» (первоначальное название — «Повесть о том, как казак побывал в Бахчисарае») ощущается явное подражание гоголевским «Вечерам на хуторе близ Диканьки»: присутствие нечистой силы (в ряде сцен изображенной комически) в мире людей не вызывает удивления, эти миры не обособлены друг от друга, а составляют единое пространство. В рассказе «Дедушкин домик» (из цикла зарисовок об украинском быте «Слобожане») «страшное повествование» входит в сюжет лишь на правах вставного эпизода; Данилевский описывает вечернюю посиделку с рассказчиком и слушателями в традиции бытописательного очерка, который является рамой для фабулы притчи. В цикле «Святочные вечера» Данилевский придает теме фантастического, иррационального нарочито сниженное звучание (не случайно в одном из рассказов цикла слышны отголоски общественной полемики с участием Д. И. Менделеева по поводу спиритизма): здесь «фантастическое» получает «реальное» объяснение. Считается, что рассказы «Христос-сеятель» и «Стрелочник» были написаны Данилевским под впечатлением от поездки в сентябре 1885 г. к Л. Н. Толстому в Ясную Поляну² (они близки по стилю «народным» рассказам Толстого). Интересно, что в этих поздних произведениях, как и в рассказе «Шарик», Данилевский наиболее всего приближается к традиции литературного святочного рассказа:

¹ Подробнее см.: Душечкина Е. В. Русский святочный рассказ: Становление жанра. СПб., 1995.

² Об этой встрече Данилевский рассказывал в статье «Поездка в Ясную Поляну (Поместье графа Л. Н. Толстого)»: Исторический вестник. 1886. Март. № 3.

герой оказывается перед сложным нравственным выбором, но происходит чудо (знак свыше, счастливая случайность), и все заканчивается благополучно, добро торжествует.

СВЯТОЧНЫЕ ВЕЧЕРА

Тексты печатаются по изданию: Сочинения Г. П. Данилевского: В 24 т. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1901. Т. 19.

С. 6. *В зиму 1879 года, во время господствовавшей в Царьщине «ветлянской чумы»...* — Речь идет о страшной эпидемии, которая разразилась в деревне Ветлянка на Волге и унесла жизни 434 человек. Для приостановления эпидемии и ликвидации ее последствий правительство направило в Ветлянку комиссию во главе с графом М. Т. Лорис-Меликовым, туда же выехала международная группа врачей. Меры борьбы с эпидемией широко освещались в прессе.

...открытой врачами «прокофьевской чумы». — В 1879 г. С. П. Боткин диагностировал чуму у петербургского дворника Наума Прокофьева. Известие об этом вскоре распространилось по всему городу, началась паника. Однако через некоторое время состояние пациента улучшилось, и Боткин сделался мишенью для всевозможных нападок и оскорблений. Сам Боткин сохранил убеждение в том, что диагноз был поставлен верно и что больной излечился от чумной инфекции в начальной форме.

...вроде тех, которые написал когда-то знаменитый Боккаччио во время бывшей в XIV веке «флорентийской чумы». — Боккаччио Джованни (1313–1375) — итальянский писатель и поэт, автор знаменитой книги «Декамерон». Книга состоит из 100 новелл, рассказанных в течение десяти дней обществом из семи дам и трех мужчин (отсюда заглавие книги), которые, спасаясь от чумы, переселились на загородную виллу и там проводили время за этими рассказами. «Декамерон» начинается с описания эпидемии чумы, которая в 1348 г. унесла две трети населения Флоренции, это бедствие становится в «Декамероне» метафорой кризисного состояния мира.

...вроде старинных рассказов: «Вечера на Хопре»... — Имеется в виду цикл фантастических рассказов М. Н. Загоски-

на «Вечер на Хопре» (1834), в который входил и названный далее рассказ «Пан Твардовский».

«Вечер на кавказских водах в 1824 году» — повесть А. А. Бестужева-Марлинского (1830).

Мертвец-убийца

С. 10. *Вяземский* Александр Алексеевич (1727–1793) — один из доверенных сановников Екатерины II, с 1764 г. — генерал-прокурор Сената.

Шешковский Степан Иванович (1727–1794) — в эпоху Екатерины II — глава Тайной экспедиции при Сенате; сыщик и следователь, занимавшийся розыском по поручениям императрицы (в том числе по делу Радищева); тайный советник и кавалер ордена Святого Владимира 2-й степени (1791).

С. 11. *Дидерот (Дидро)* Дени (1713–1784) — французский философ-просветитель, писатель и драматург, один из создателей «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» (1751). В 1773–1774 гг. по приглашению Екатерины II жил в России.

София Алексеевна (1657–1704) — дочь царя Алексея Михайловича, правительница России в 1682–1689 гг.

Никита Пустосвят (Никита Константинович Добрынин, ум. 1682) — суздальский священник, противник церковной реформы патриарха Никона. Казнен на Лобном месте. Признается «столпом веры» у старообрядцев.

Скуфейка (скуфья) — у православного белого духовенства: остроконечная бархатная черная или фиолетовая мягкая шапочка.

С. 12. *Кого же хочет мир?* — Имеется в виду крестьянская община.

Киса — кошелек, кисет.

Жизнь через сто лет

С. 14. «Еще никто из видел моего лица». *Древняя надпись на статуе Изиды.* — *Изида* — древнеегипетская богиня плодородия, которая также почиталась как богиня молчания. По преданию, в храме города Саис находилась статуя Изиды, изображенной под покрывалом. Надпись на статуе

гласила: «Я есть все, что было, есть и будет; ни один смертный еще не приподнял моего покрывала». Выражение «приподнять завесу (покров) тайны», означающее «узнать истину», получило широкое распространение благодаря стихотворению Ф. Шиллера «Закрытая статуя в Саисе» («Das verschleierte Bild zu Sais», 1795).

С. 15. ...*кончил курс в Московском университете, где из-бег тогдашних волнений молодежи...* — Речь идет о волнениях студентов Московского университета в октябре 1861 г., закончившихся арестами некоторых участников.

Деист — представитель деизма (от лат. deus — бог) — религиозно-философского направления, которое признает существование Бога, но отрицает большинство религиозных догматов (например, деисты признают, что Бог сотворил мир, но считают, что он не вмешивается в дальнейший ход событий).

...*шарлатанами вроде Юма, Бредифа, Следа, братьев Эдди и других фокусников этого пошиба.* — Перечисляются имена знаменитых медиумов (в спиритизме — посредников, способных общаться с душами умерших людей). Юм (Хьюм) Дэниел Данглас (1833–1886), След (Слейд) Генри (1825–1905) — английские медиумы; Бредиф Камил — французский медиум; братья Эдди, Горацио (1842–1922) и Уильям (1832–1932), — американские медиумы. В России первые спиритические сеансы были проведены в 1870-е гг. медиумом Юмом, участие в них принимал даже Александр II. Всеобщее внимание к спиритизму привлекли «опыты» Бредифа, приехавшего в Петербург в 1874 г. Его выступления послужили причиной ожесточенной полемики между сторонниками спиритизма, в числе которых были химик-органик А. М. Бутлеров, зоолог и писатель Н. П. Вагнер, известный философ и публицист А. Н. Аксаков, и противниками спиритизма. По предложению Д. И. Менделеева в мае 1875 г. была создана комиссия для изучения «медиумических явлений», и уже в декабре Менделеев выступил с первой публичной лекцией, разоблачающей спиритизм.

...*вроде сеансов Робер-Гудена...* — Робер-Гуден Жан Эжен (1805–1871) — знаменитый французский фокусник, один из основоположников жанра сценического иллюзиона. Будучи по профессии часовщиком, собственноручно изготов-

ливал механические автоматы, которые использовал в своих номерах.

...путая, по обычаю французов, Шопенгауэра с Гартманом и Штрауса с Фейербахом. — Шопенгауэр Артур (1788–1860), Гартман Эдуард (1842–1906) — немецкие философы, представители идейного пессимизма и иррационализма. Штраус Давид Фридрих (1808–1874) — немецкий философ и теолог. Фейербах Людвиг Андреас фон (1804–1872) — немецкий философ-материалист.

С. 19. *Полушка* — мелкая разменная монета из меди, достоинством $\frac{1}{4}$ копейки.

С. 20. *Площадь Трона* (Тронная площадь; ныне площадь Нации) — получила первоначальное название благодаря тому, что 26 августа 1660 г. на ней был установлен декоративный трон в честь Людовика XIV и его супруги Марии Терезии, сочетавшихся браком в июне 1660 г. и прибывших в Париж из Венсенского замка. В 1793 г., во время революции, на площади была установлена гильотина, и место стало называться площадью Свергнутого трона.

...на *Всемирной выставке*... — Речь идет о Всемирной выставке, проходившей в Париже в апреле — ноябре 1867 г.

С. 22. *Максимилиан I* (Фердинанд Максимилиан Иосиф фон Габсбург; 1832–1867) — эрцгерцог Австрийский, император Мексики в 1864–1867 гг. Получил титул и корону императора Мексики при поддержке французского императора Наполеона III, однако не получил поддержки мексиканских республиканцев и в результате длительного противостояния сторон был расстрелян.

С. 23. ...*по-французски*: «Равенство, свобода, братство»... — «Свобода, равенство, братство» (фр. «Liberté, Égalité, Fraternité») — девиз Великой французской революции.

У французов никогда не будет республики... — После Великой французской революции во Франции еще неоднократно сменялась власть. Первая французская республика была провозглашена 21 сентября 1792 г., когда был свернут Людовик XVI. Официально республика просуществовала вплоть до 1804 г. — т. е. до образования Наполеоном I Первой французской империи (1804–1815). Вторая республика — период французской истории с 1848 по 1852 г.; президентом был избран принц Луи Наполеон Бонапарт (пле-

мянник Наполеона I), спустя время объявивший себя императором под именем Наполеона III, после чего Вторая республика прекратила существование и началась Вторая империя (до 1870).

С. 26. *Долгуша* — экипаж с кузовом, помещенным на длинных продольных брусках.

Паланкин — носилки в виде кресла или ложа под навесом, балдахином.

С. 28. *...после низвержения династии Бонапартов и, как известно, во время правления ныне угасшей династии Гамбеттидов...* — Данилевский датирует свой рассказ 1868 г. В это время во Франции имя адвоката Леона Мишеля Гамбетта (1838–1882) было у всех на устах. Гамбетта выступал на стороне республиканцев, критикуя правительство Наполеона III. Громкие судебные процессы 1868 г. открыли перед ним широкие возможности для политической деятельности, сделав его опасным противником монархии. Интересно, что именно Гамбетта 4 сентября 1870 г. объявил о низложении Наполеона III. В каком-то смысле Данилевский предугадал значение этого политического деятеля в истории Франции, однако ошибся насчет династии Гамбеттидов, надолго пришедшей к власти после свержения Бонапартов: в 1870 г. была провозглашена Третья республика, просуществовавшая до 1940 г.

С. 30. *...в отместку Англии за Пальмерстона...* — Речь идет об английской внешней политике, которой в период Крымской войны 1853–1856 гг. руководил Генри Джон Темпл, лорд *Пальмерстон* (1784–1865): Англия выступала на стороне Турции, против России.

...за Бисмарка, «прижимавшего славян к стене»... — *Бисмарк* Отто Эдуард Леопольд фон *Шёнхаузен* (1815–1898) — германский государственный деятель, с 1862 г. министр-президент и министр иностранных дел Пруссии. Прочитанное высказывание («Man muß die Slaven an die Mauer drücken» — «Надо прижать славян к стене») принадлежит не Бисмарку, а австрийскому министру иностранных дел Фридриху Фердинанду Бейсту (1809–1886).

С. 34. *...Патти и Дженни Линд.* — *Патти* Аделина (1843–1919) — итальянская оперная певица (колоратурное

сопрано). *Линд Джесси* (наст. имя Линд Йоханна Мария; 1820–1887) — шведская оперная певица (сопрано).

С. 38. *Разве во Франции мормонизм?* — Мормоны — североамериканская религиозная секта, основанная в 1827 г. Дж. Смитом, учение которой представляет собою смесь многобожия и христианства; мормоны проповедовали и практиковали теократию и полигамию.

С. 41. *Вагнер* Вильгельм Рихард (1813–1883) — немецкий композитор, реформатор оперы.

С. 42. *Либих* Юстус фон (1803–1873) — немецкий химик.

Вирхов Рудольф (1821–1902) — немецкий ученый и политический деятель, основатель клеточной (клеточной) патологии, автор работ по антропологии и доисторической археологии.

Проказы духов

С. 42. *Штабс-капитан* — обер-офицерский чин, обычно — командир роты.

Я в качестве юнкера должен был держать экзамен на офицерский чин в тверском училище. — Имеется в виду Тверское кавалерийское юнкерское училище (1865–1918), выпускникам которого присваивался первый обер-офицерский чин (прапорщика).

С. 44. *«Русский вестник»* — один из наиболее влиятельных журналов второй половины XIX в., издавался с 1856 г. М. Н. Катковым.

Таинственная свеча

С. 52. *...с большого почтового тракта на проселок. Кириллов ехал в собственной коляске, по фельдъегерской дорожной и открытому листу.* — Почтовый тракт — большая проезжая дорога с почтово-пассажирским сообщением; на трактах были организованы почтовые станции, где проезжающие (почтальоны, везущие почту, и путешественники, едущие на почтовых лошадях — «на почтовых», или «на перекладных») могли поменять лошадей и отдохнуть. Проезд на почтовых лошадях по делам службы оплачивался казной: проезжающий должен был предъявить станционному смотрителю подорожную — документ, удостоверяющий

право пассажира пользоваться для передвижения определенным количеством почтовых лошадей (В. И. Даль определяет подорожную как «открытый лист на получение почтовых лошадей»). *Фельдъегерь* — состоящий на государственной службе рассыльный, курьер в военном звании.

...меня в волостях обывательских лошадей... — Т. е. лошадей, принадлежащих местному населению (не почтовых), но находящихся на содержании у волостного правления.

— *Государственных крестьян? — Вольная.* — Государственные крестьяне, в отличие от помещичьих (крепостных), считались лично свободными, хотя и прикрепленными к земле. В 1861 г. в России было упразднено крепостное право (крепостные крестьяне стали свободными, «вольными»). Закон о государственных крестьянах был принят только в 1866 г. (за крестьянами сохранялись земли, находящиеся в их пользовании). Следовательно, действие повести отнесено ко времени между принятием этих двух реформ.

Расправа есть? — Т. е. управа.

С. 53. *Мужики все в отхожих работах...* — Т. е. на заработках в отхожих промыслах (полевые, строительные работы, извоз, бурлаки, разносчики и т. д.). Отхожие промыслы были особенно развиты в тех областях России, где почвы были малопродуктивными, либо там, где крестьяне были мало обеспечены землей.

С. 56. *Аналой* — высокая подставка с покатым верхом, на которую кладутся богослужебные книги или иконы.

С. 60. *...кутного зуба.* — Коренного зуба.

Прогулка домового

С. 60. *Пять Углов* — место в историческом центре Петербурга, где пересекаются четыре улицы, образуя пять углов: Загородный проспект, улица Рубинштейна (до 1929 г. — Троицкая), улица Ломоносова (до 1948 г. — Чернышев переулок) и Разъезжая улица.

...на Аглицкую набережную. — Английская набережная на левом берегу Невы, между Сенатской площадью и Ново-Адмиралтейским каналом.

С. 61. *...в конце Масленой недели...* — Т. е. Масленицы — восьмой недели перед Пасхой. После Масленицы начинается Великий пост, который длится семь недель.

С. 62. *Фатера* — искаженное «квартира».
...в Ямскую... — Ныне улица Достоевского.
Выпили с дюжину пива... — Т. е. 12 бутылок.
...барин «из стрюцких» — должно, чиновник. — *Стрюцкий* (устар.) — подлый, презренный; употреблялось также в значении «штатский» — в противоположность «военному».

Старые башмаки

С. 70. *Фрикасе* (фр. *fricassée* — «всякая всячина», от *fricasser* — «жарить, тушить») — рагу из белого мяса в белом соусе.

Божьи дети

С. 71. *Набоб* — со второй половины XVIII в. так называли людей, разбогатевших в английских и французских колониях, прежде всего в Индии. Впоследствии это слово стало означать всякого быстро разбогатевшего человека, ведущего праздный образ жизни.

Счастливый мертвец

С. 82. *Исправник* — глава уездного полицейского управления.

Откупщик — владелец приобретавшегося за определенный денежный взнос в государственную казну монопольного права (откупа) на торговлю какими-либо товарами или на взывание налогов с подобной торговли (например, с продажи алкогольных напитков).

С. 85. *Киот* — деревянная рама или ящик со стеклом (ковчег), где помещается икона.

С. 86. *Сотский* (сотский староста) — низший служащий сельской полиции, исполняющий свои обязанности, как правило безвозмездно, в порядке мирской повинности.

С. 88. *Бурса* — общежитие для студентов при духовной семинарии, в просторечии — сама духовная семинария.

С. 89. *Свита* — рубаха.

Поярковый — т. е. из поярка — шерсти ягненка.

Сибаритский — от слова «сибарит» — человек, ведущий роскошный, изнеженный образ жизни.

Корчик — небольшой сосуд с рукоятью для питья крепких напитков.

Серебряный талер — по-видимому, речь идет о старинном русском серебряном рубле, который назывался ефимок. Такие рубли были перечеканены из талеров в 1654–1655 гг. при царе Алексее Михайловиче, но вскоре вышли из обращения; длительное время они еще имели хождение на территории Украины.

Разбойник Гаркуша

С. 91. *Семен Гаркуша* (1739 — ок. 1784) — реальное историческое лицо, запорожский разбойник, ставший легендарным персонажем в фольклоре. Родился в семье крепостного крестьянина. Скитался по Украине, затем объявился в Запорожской Сечи. Принимал участие в Русско-турецкой войне, в 1771 г. был ранен под Хаджибеем. После выздоровления собрал шайку и начал грабить богатые украинские хутора. В 1775 г. был пойман и отправлен в Сибирь, однако бежал. Вскоре был пойман вторично и отправлен в Москву, где его вместе с сообщниками били кнутом, вырвали ноздри и осудили на вечную каторгу в Казань. Гаркуше снова удалось бежать. В 1784 г. он был схвачен в третий раз и сослан на вечные каторжные работы в Херсон, где, по-видимому, и погиб. О Гаркуше сложено множество сказаний и легенд, изображающих его защитником простого народа. Его личность привлекала и внимание литераторов. Так, ему был посвящен незавершенный роман В. Т. Нарезного «Гаркуша, малороссийский разбойник» (1825; впервые опубликован на украинском языке в 1931 г., на русском языке — в 1950 г.).

С. 92. *Гайдамак* — участник украинского повстанческого вооруженного отряда.

Берите, лишень, его... — Т. е. «берите-ка его».

С. 93. *...заплатыла пивторы копы.* — Т. е. 75 копеек (півтора — полтора, копа — 50 копеек).

Известный библиограф и исследователь Малороссии А. М. Лазаревский... — Лазаревский Александр Матвеевич (1834–1902) — украинский историк.

...в статье «Украинского альманаха»... — Имеется в виду «Украинский альманах», изданный в 1831 г. в Харькове

И. И. Срезневским и И. В. Росковшенко, где в отделе прозы была помещена статья «Гаркуша».

С. 94. *Харциз* — разбойник, злодей.

С. 97. *Киевская академия* (*Киевская духовная академия*) — высшее учебное заведение Православной церкви, находящееся в Киеве.

С. 99. ...*вершков десяти*... — Т. е. два аршина (142 см) и 10 вершков (около 45 см).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Бес на вечерницах

Впервые опубликовано: Современник. 1852. Кн. 5 (под названием «Повесть о том, как казак побывал в Бахчисарае»).

Печатается по изданию: Сочинения Г. П. Данилевского: В 24 т. СПб.: Издание А. Ф. Маркса. 1901 г. Т. 17.

С. 105. *Изюм* — город в Харьковской губернии.

Нанковый — сшитый из нанки (по названию китайского города Нанкина) — прочной хлопчатобумажной ткани, обычно буровато-желтого цвета.

С. 116. *Чумак* — на Украине крестьянин, занимавшийся перевозкой и продажей соли, рыбы, хлеба и других товаров.

С. 119. *Бахмут* — ныне (с 1924 г.) Артемовск в Донецкой области.

Дедушкин домик

Впервые опубликовано в сборнике: *Данилевский Г. П.* Слобожане. Малороссийские рассказы. СПб., 1854.

Печатается по изданию: Сочинения Г. П. Данилевского: В 24 т. СПб.: Издание А. Ф. Маркса. 1901 г. Т. 17.

С. 133. ...*к Петровским розговенам*... — Т. е. к окончанию Петровского поста. Розговение — употребление скоромной пищи по окончании поста. Петровский пост начинается через неделю после дня Святой Троицы и длится до Петрова дня (29 июня / 12 июля).

Чемерка (*укр.*) — чемерица, растение из семейства лилейных.

Кульбабки (укр.) — одуванчики.

Волошки (укр.) — васильки.

Козёльки — по-видимому, козлобородник восточный, который также называют «козелец», «козельки».

Смодв (смовд, укр.) — горичник, травянистое растение из семейства зонтичных.

С. 134. *Некоси* — некошеные луга.

С. 135. *Кутема* — гариус (хариус), рыба из семейства лососевых.

Пеструшка — быстрянка, рыба семейства карповых.

Погоньш — небольшая водоплавающая птица семейства пастушковых.

Шмара — тина на воде.

Мерлушковый — из мерлушки, шкурки ягненка.

С. 137. *Шляхетный (Шляхетский) корпус* — закрытое военно-образовательное учебное заведение для дворян.

С. 140. *Поветовый комиссар* — должностное лицо, стоящее во главе управления уездом (повет — уезд на Украине).

Златоверхая пустынь — монашеский скит, на территории которого находится храм с позолоченным куполом.

Пенковая трубка — трубка для курения табака, сделанная из сепиолита (морской пенки) — минерала, который не влияет на вкус табачного дыма.

С. 147. *...над гарусным вязаньем...* — *Гарус* — род шерстяной или хлопчатобумажной пряжи.

С. 148. *...из слобожанских степей...* — Слободская Украина (Слобожанщина) — историческая область на северо-востоке современной Украины (почти вся Харьковская область, а также соседние с ней юго-восточные районы Сумской, северные районы Луганской и Донецкой областей) и на юго-западе Черноморья в России (часть Белгородской области и соседние южные районы Курской и юго-западные районы Воронежской областей).

Христос-сеятель

Датируется 1886 г. Печатается по: Сочинения Г. П. Данилевского: В 24 т. СПб.: Издание А. Ф. Маркса. 1901 г. Т. 8.

С. 149. *Серебряный дукат*. — В России в XVIII–XIX вв. тайно выпускали дукаты (копии голландских дукатов), од-

нако эти монеты были золотыми. По-видимому, Данилевский имеет в виду серебряные монеты, имеющие вес дуката — 3,5 г.

Червонец — золотая монета, выпускавшаяся в России (русский аналог дуката).

С. 150. *Брашно* — пища, еда.

Покров (Покров день) — народное название дня Покрова Пресвятой Богородицы, великий праздник православного календаря (1/14 октября).

Филипповки — Филипповский (Рождественский) пост, начинается после дня св. апостола Филиппа (14/27 ноября) и длится сорок дней до Рождества Христова.

С. 151. *Плахта* — на Украине женская праздничная одежда, запашная юбка, сшитая из двух полотнищ.

С. 152. *Петровки* — Петров (Апостольский) пост, установленный в честь свв. апостолов Петра и Павла, начинается через неделю после дня Св. Троицы и длится до Петрова дня (29 июня / 12 июля).

С. 153. *Зипун* — верхняя одежда из грубого сукна, запашной кафтан без воротника.

С. 158. *...не слушают на миру...* — Речь идет о мировом сходе (мир — крестьянская община) — общем собрании глав крестьянских хозяйств, которые собирались по мере необходимости для решения важных дел.

Стрелочник

Датируется 1886 г. Впервые: *Данилевский Г. П.* Стрелочник. СПб., 1887.

Печатается по: Сочинения Г. П. Данилевского: В 24 т. СПб.: Издание А. Ф. Маркса. 1901 г. Т. 8.

С. 160. *Плисовый* — из плиса, хлопчатобумажной ткани с ворсом, похожим на бархатный.

Перед Спасом... — По-видимому, перед Первым (Мокрым) Спасом, праздником православного календаря, который отмечается 1/14 августа. Православная церковь отмечает 6/19 августа Второй Спас (Преображение Господне, Яблочный Спас) и 16/29 августа Третий Спас (Ореховый Спас, Спас Нерукотворный).

Дистаночный десятник — начальник над рабочими при земляных, строительных и др. работах.

С. 162. ...о котором он недавно вычитал в житиях святых. — Возможно, имеется в виду преподобный Мартиниан Кесарийский (день памяти — 13/26 февраля). С восемнадцати лет он жил в пустыне, близ города Кесарии Палестинской, где пробыл в подвигах и безмолвии 25 лет. Однажды женщина-блудница решила соблазнить святого Мартиниана и пришла к нему под видом странницы, прося ночлега. Когда гостя начала соблазнять подвижника, он вышел из кельи, зажег костер и встал босыми ногами на пылающие угли.

С. 163. ...выпил с ними четвертку и другую. — Четвертка (сороковка, косушка) — посуда для измерения объема жидкости в кабаках, равнялась $\frac{1}{40}$ ведра, или $\frac{1}{4}$ кружки, или 0,3 л.

Шарик

Датируется 1890 г. При жизни Данилевского рассказ не публиковался.

Печатается по тексту первой публикации: Сочинения Г. П. Данилевского: В 24 т. СПб.: Издание А. Ф. Маркса. 1901 г. Т. 18.

С. 175. ...даст не меньше синей, а то, пожалуй, и красную. — Соответственно пять и десять рублей ассигнациями.

С. 176. Глазет (от фр. glaze — лощеный) — ткань, похожая на парчу, с шелковой цветной основой и узорами из золотых и серебряных нитей.

С. 181. ...по обычаю единоплеменников, босой, в разорванном белье, забивался в угол, посылал себе голову золой... — Имеется в виду древний еврейский обычай посыпать голову пеплом или землей, оплакивая несчастье. Этот обычай, выражающий крайнюю степень покаяния человека, неоднократно упоминается в Библии (например, Книга Есфири 4: 1; 4: 17).

С. 182. Полсть — полотнище, войлочное покрывало.

С. 183. Хедер — еврейская начальная школа для обучения мальчиков основам иудаизма.

Меламд — учитель в еврейской школе.

Седер — праздничный вечер в канун Песаха (иудейской Пасхи), и все ритуалы этой ночи называются седер («порядок»).

...черные кудри вьются до плеч, как у Авессалома... — В Ветхом Завете Авессалом — один из сыновей царя Давида, славившийся своей красотой и особенно длинными, густыми волосами.

...прекрасный Иосиф... — В Ветхом Завете Иосиф — старший сын патриарха Иакова, был продан братьями в Египет. Иосиф умел толковать сновидения, предсказав фараону семь лет плодородия и семь лет неурожая; в голодные годы открыл нуждающимся хлебохранилища и переселил в Египет весь свой род во главе с Иаковом.

...стихи пишет, как Давид. — Подразумевается Псалтырь, автором которой традиционно считается библейский царь Давид.

Монтефиоре Моисей (1784–1885) — известный английский финансист, общественный деятель и филантроп, еврей по происхождению.

Френкель Антон (1809–1883) — варшавский банкир, сын крещеных евреев, один из учредителей Центрального банка русского поземельного кредита; в 1857 г. русский император Александр II пожаловал ему титул барона.

Знакомство с Гоголем

Впервые опубликовано: Московские ведомости. 1852. № 124. 14 октября (под названием «Хуторок близ Диканьки»; ныне этот текст составляет вторую часть очерка «Знакомство с Гоголем». В полном объеме «Знакомство с Гоголем» впервые опубликовано: Исторический вестник. 1886. № 12.

Печатается по изданию: Гоголь в воспоминаниях современников / Под ред. С. И. Машинского. М., 1952.

С. 190. *Бодянский Осип Максимович* (1808–1877) — уроженец Полтавской губернии, известный ученый-славист, с 1842 г. профессор Московского университета; был знаком с Гоголем с октября 1832 г.

С. 191. *Толстой Александр Петрович* (1801–1873) — граф, государственный деятель, был другом Гоголя, которого в Толстом привлекали и религиозная настроенность души, и склонность к аскетизму, и доброта. С 1848 г. Гоголь жил в доме Толстого (современный адрес — Никитский бульвар, д. 7), где и умер.

С. 192. *...по поводу изданной незадолго перед тем его известной книги «Выбранные места из переписки с друзьями».* — Книга, в которой соединились исповедальное и проповедническое начала, увидела свет в 1847 г., она открывала читателям нового Гоголя, его духовные искания и интерес к вопросам веры.

Белинский... первый бросил камнем в Гоголя за его «Переписку с друзьями». — Белинский откликнулся на выход гоголевской книги резко отрицательной рецензией в журнале «Современник» (1847. Т. 1. № 2). На эту статью Гоголь ответил личным письмом Белинскому, которое начиналось словами: «Я прочел с прискорбием статью Вашу обо мне во втором № „Современника“. Не потому, чтобы мне прискорбно было то унижение, в которое Вы хотели меня поставить в виду всех, но потому, что в ней слышится голос человека, на меня рассердившегося. А мне не хотелось бы рассердить даже и не любившего меня человека, тем более Вас, о котором я всегда думал как о человеке, меня любящем. Я вовсе не имел в виду огорчить Вас ни в каком месте моей книги. Как это вышло, что на меня рассердились все до единого в России, этого я покуда еще не могу сам понять» (цит. по: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 267).

...ходило в списках его неизданное письмо к Гоголю, где знаменитый критик горячо и беспощадно бичевал автора «Мертвых душ»... — В июле 1947 г. Белинский, находившийся на лечении в Зальцбрунне, ответил Гоголю открытым письмом, где, в частности, говорилось: «...Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение» (Там же. С. 270–271). Письмо распространялось в списках. Оно было опубликовано уже после смерти Белинского: в 1855 г. в Лондоне А. И. Герцен напечатал его в первом номере альманаха «Полярная звезда».

С. 194. *Щепкин* Михаил Семенович (1788–1863) — великий русский актер, один из самых близких друзей Гоголя.

С. 195. *...свой портрет, писанный с него в Риме в 1841 году знаменитым Ивановым.* — Иванов Александр Андреевич (1806–1858) познакомился с Гоголем в 1838 г. в Италии, куда в числе большой группы художников был командирован Петербургской академией художеств. В 1841 г. Иванов написал портрет Гоголя. Известно, что Гоголь не желал видеть свой портрет, на котором изображен в халате, в домашней обстановке, опубликованным (в 1843 г. литографированный портрет Гоголя работы Иванова увидел свет в журнале «Москвитянин», без спроса и ведома Гоголя). В письме к С. П. Шевыреву Гоголь так объяснял причину своего нежелания: «Там я изображен как был в своей берлоге назад тому несколько лет» (там же. С. 308).

Рубини Джованни Батиста (1794–1854) — знаменитый итальянский певец-тенор, в 1844 г. выступал в Санкт-Петербурге.

Не я один, и Аксаковы хотели бы его послушать... особенно Надежда Сергеевна. — Аксаковы — семья видных литературных и общественных деятелей, с которой Гоголя связывали сложные отношения: дружба не раз прерывалась периодами отчуждения. Глава семьи Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859) — известный писатель, автор воспоминаний о Гоголе. Сыновья Иван (1823–1886) и Константин (1817–1860) были идеологами славянофильства, старшая дочь Вера (1819–1864) также была активной участницей этого движения. Надежда (1829–1869) — младшая дочь С. Т. Аксакова; по воспоминаниям современников, она обладала красивым голосом, играла на гитаре.

С. 196. *...к Княжевичу...* — Как установил С. И. Машинский, речь идет о Владиславе Максимовиче *Княжевиче* (1798–1873), в молодости литераторе, потом петербургском вице-губернаторе, тайном советнике (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 658).

А тут еще затеял новое полное издание своих сочинений. — Первое собрание сочинений Гоголя увидело свет в 1842 г., однако в издании оказалось множество опечаток и издательских недосмотров. В конце 1850 г. Гоголь задумал осуществить второе издание своих сочинений. Однако работа над ним была прервана из-за смерти писателя и возобновилась только в 1855 г. Собрание сочинений Гоголя, в ше-

сти томах, подготовил племянник писателя Н. П. Трушковский.

С. 197. *...о двух новых поэмах тогда еще молодого, но уже известного поэта Ап. Ник. Майкова, «Савонарола» и «Три смерти».* — Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) — поэт, публицист. Его поэма «Савонарола» и драма «Три смерти» написаны в 1851 г. (опубл. 1857).

С. 198. *Срезневский* Измаил Иванович (1812–1880) — русский филолог-славист, этнограф, палеограф; до 1847 г. жил и работал в Харькове, затем переехал в Петербург, с 1851 г. академик Петербургской АН.

С. 199. *Шевырев* Степан Петрович (1806–1864) — критик, историк литературы и поэт, профессор Московского университета, с 1847 г. академик Петербургской АН; был дружен с Гоголем, принимал деятельное участие в разборе его бумаг и хлопотал о посмертном издании его сочинений.

Десть — старая русская единица счета писчей бумаги. Название происходит от персидского слова *dāstā* (рука, горсть). Десть равнялась 24 листам бумаги.

С. 201. *...перевели драму Шекспира «Цимбелин».* — Речь идет о переводе пьесы Шекспира «Цимбелин», который Данилевский выполнил с немецкого языка (впервые: Библиотека для чтения. 1851. Т. 108. № 8).

С. 203. *Это чтение описано И. С. Тургеневым в отрывках из его литературных воспоминаний.* — Имеется в виду очерк И. С. Тургенева «Гоголь» (1869) из цикла «Литературных и житейских воспоминаний». Рассказывая в этом очерке о чтении Гоголем «Ревизора», Тургенев довольно зло описал молодого Данилевского: «Я сидел, погруженный в радостное умиление: это был для меня настоящий пир и праздник. К сожалению, он продолжался недолго. Гоголь еще не успел прочесть половину первого акта, как вдруг дверь шумно растворилась, и, торопливо улыбаясь и кивая головою, промчался через всю комнату один еще очень молодой, но уже необыкновенно назойливый литератор — и, не сказав никому ни слова, поспешил занять место в углу. Гоголь остановился; с размаху ударил рукой по звонку и с сердцем заметил вошедшему камердинеру: „Ведь я велел тебе никого не впускать!“ Молодой литератор слегка пошевелился на стуле — а впрочем, не смутился нисколько. Го-

голь отпил немного воды и снова принялся читать: но уж это было совсем не то. Он стал спешить, бормотать себе под нос, не доканчивать слов; иногда он пропускал целые фразы — и только махал рукою. Неожиданное появление литератора его расстроило: нервы его, очевидно, не выдерживали малейшего толчка» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 536).

С. 203. ...«в своих произведениях рекомендовал хитрость и лукавство раба». — Неточная цитата, у Тургенева: «Только когда он завел речь о цензуре, чуть не возвеличивая, чуть не одобряя ее, как средство развивать в писателе сноровку, умение защищать свое детище, терпение и множество других христианских и светских добродетелей — только тогда мне показалось, что он черпает из готового арсенала. Притом доказывать таким образом необходимость цензуры — не значило ли рекомендовать и почти похваливать хитрость и лукавство рабства?» (Там же. С. 533.)

С. 204. *Мальпост* — почтовая карета, перевозившая легкую почту и пассажиров.

С. 205. ...а ваши украинские сказки в стихах? — Включены в издание «Степные сказки» (1852), впоследствии неоднократно выходили отдельными изданиями.

...сказки «Снегурка». — Из цикла украинских сказок.

С. 206. ...общего нашего ментора, профессора А. В. Никитенко... — Никитенко Александр Васильевич (1805–1877) — профессор истории русской словесности в Петербургском университете, литератор и цензор; цензуровал ряд произведений Гоголя, в том числе первое издание «Мертвых душ».

С. 208. ...на Масленой говел... — Т. е. постился во время Масленичной недели, когда разрешено употребление скоромной пищи (за Масленицей следует Великий пост).

С. 209. *Вышла литография с изображением Гоголя в гробу*. — Речь идет о литографии с рисунка, сделанного Владимиром Александровичем Рачинским (1831–1888). Позднее его брат, известный русский педагог Сергей Александрович Рачинский, рассказал историю этой литографии, изданной через несколько дней после смерти Гоголя: «Вскоре после кончины... тело его было положено в гроб и перенесено в церковь Московского университета. Тут около гроба до самого погребения постоянно дежурили студенты. В одном

из таких ночных дежурств участвовал мой покойный брат, Владимир Александрович Рачинский, тогда студент четвертого курса юридического факультета. Обладая немалым талантом к рисованию и желая сохранить воспоминание об этом скорбном и торжественном бдении, он в первом часу ночи принялся рисовать профиль покойного, надеясь, что он успеет окончить рисунок без свидетелей». Но в церковь вошла гр. Е. П. Ростопчина. Она долго молилась, а затем обратила внимание на рисующего юношу и была потрясена «достигнутым сходством и передачею печати важного покоя, лежавшей на чертах усопшего». Гр. Ростопчина рассказала о портрете В. И. Назимову (попечителю Московского университета). «Портрет был налитографирован в ограниченном количестве экземпляров и в несколько дней раскуплен. [...] По прошествии нескольких дней каким-то убогим рисовальщиком была пущена в продажу лубочная копия в уменьшенном виде с рисунка моего брата, с прибавкой разных безвкусных эмблем» (цит. по: Воронаев В. А. Гоголь и Московский университет // Вестник Московского университета. Серия «Филология». 2009. № 2. С. 12).

...известный арест при полиции И. С. Тургенева и его высылка в деревню за напечатание им в Москве заметки об умершем Гоголе, не пропущенной цензурою в Петербурге. — Статья Тургенева была написана через три дня после смерти Гоголя — 24 февраля 1852 г. Тургенев предложил ее «С.-Петербургским ведомостям», однако цензура статью не пропустила из-за чрезмерно «пышных выражений». Тургенев, вопреки цензурному запрету, решил напечатать статью в Москве, и 13 марта 1852 г. она увидела свет на страницах «Московских ведомостей». В дело вмешался лично Николай I, который вынес резолюцию: «...а за явное ослушание посадить его на месяц под арест и выслать на жительство на родину под присмотр» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 679).

С. 210. *...смотрел тогда на Гоголя глазами враждебной последнему «Северной пчелы»...* — Газета Булгарина «Северная пчела» неоднократно выступала с критикой гоголевских произведений, которым посвящались и специальные разборы. Например, выход «Мертвых душ» Булгарин проанонсировал так: «...Ни в одном русском сочинении нет столько

безвкусию, грязных картин и доказательств совершенного незнания русского языка, как в этой поэме...» (Северная пчела. 1842. № 119. 30 мая). Булгарину вторил Н. И. Греч (с 1831 г. соиздатель «Северной пчелы»): «Удивляемся безвкусию и дурному тону, господствующим в этом романе» (Северная пчела. 1842. № 137. 22 июня). Подробнее о взаимоотношениях Булгарина и Гоголя см.: *Рейтблат А. И.* Гоголь и Булгарин: к истории литературных взаимоотношений // Гоголь: Материалы и исследования. М., 1995. С. 82–98; *Акимов Н. Н.* Булгарин и Гоголь. Массовое и элитарное в русской литературе: проблема автора и читателя // Русская литература. 1996. № 2. С. 3–22.

С. 211. ...в Данилов монастырь, на могилу Гоголя. — В 1930 г. монастырь был закрыт; 31 мая 1931 г. прах Гоголя и памятник перенесли на Новодевичье кладбище.

С. 213. *Призба* — завалинка.

С. 214. *Моего сына*, — сказала она, *отирая слезы*, — *знал сам государь и за его писательство велел считать его на службе и отпускать ему жалованье*. — Гоголь несколько раз прибегнул к помощи членов царской семьи. В 1837 г. Гоголь решил просить помощи у Николая I, будучи в Риме: он терпел жестокую нужду, не оправившись от недавней болезни. По резолюции императора Гоголю была выделена сумма в пять тысяч рублей. В конце 1843 г. Гоголь получил от императрицы пособие в размере тысячи рублей. Весной 1845 г. о Гоголе хлопотали перед государем В. А. Жуковский и фрейлина императрицы А. О. Смирнова. Николай I назначил Гоголю пенсион на три года (по тысяче рублей в год). Тогда же помощь Гоголю оказал и великий князь Александр Николаевич (по тысяче франков в год в течение трех лет).

С. 219. ...*портрет, писанный в 1840 году масляными красками Моллером (этот портрет был привезен Гоголем в подарок матери из Петербурга)*... — В 1841 г. Гоголь заказал для матери свой портрет Федору Антоновичу Моллеру (1812–1874). По воспоминаниям Н. В. Берга, «Гоголь, по-видимому, думал тогда, как бы сняться *покрасивее*; надел сюртук, в каком никогда его не видали ни прежде, ни после; растянул по жилету невероятную бисерную цепочку; сел *прямо*, может быть для того, чтоб спрятать от потомков сколь воз-

можно более свой длинный нос, который, впрочем, был не особенно длинен» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 500).

С. 220. *Гоголь, по словам его матери, родился 19 марта...* — Дата рождения Гоголя вызывала вопросы, поскольку в метрической книге сорочинской церкви указано, что он родился 20 марта (по новому стилю — 1 апреля).

...известный украинский литератор <В. В.> Капнист, заехав однажды... — Капнист Василий Васильевич (1757–1823) — драматург и поэт, его имение в селе Обуховка находилось неподалеку от родового имения Гоголя в селе Васильевка.

С. 221. *Аутодафе* — в средневековой Испании — торжественная религиозная церемония, включавшая в себя публичное покаяние осужденных еретиков и чтение их приговоров; этим словом также называется и сама процедура приведения приговора в действие, главным образом публичное сожжение осужденных на костре.

Были собраны, привезены и без всякого сожаления сожжены около шестисот этих книжек. — Поэма Гоголя «Ганц Кюхельгартен» была опубликована в июне 1829 г. Но почти сразу после выхода книги, в июле того же года, Гоголь сжег почти весь тираж.

С. 222. *Это было последнее свидание великих писателей.* — Дата последнего свидания Пушкина и Гоголя не установлена. О встречах и переписке Пушкина и Гоголя см.: Петрунина Н. Н., Фридендер Г. М. Пушкин и Гоголь в 1831–1836 годах // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 6. Л., 1969. С. 197–228.

Гоголь Иван Васильевич (1810–1819) — младший брат писателя.

С. 222–223. *Гоголь-отец сам сочинял театральные комические пьесы... выписок из них, послуживших эпиграфами к некоторым из повестей Гоголя.* — Гоголь взял эпиграфы для «Сорочинской ярмарки» из комедий отца «Простак, или Хитрость женщины, перехитренная солдатом» и «Собака-овца» (не сохранилась).

С. 223. *Добравшись до Любека, он написал матери покаянное письмо...* — Имеется в виду письмо Гоголя от 13/25 августа 1829 г.

...Минувшим летом... — Т. е. летом 1885 г.

С. 225. *Данилевский Александр Семенович* (1809–1888) — земляк и один из самых ближайших друзей писателя, учился вместе с ним в Полтавском поветовом училище и затем в Нежинской гимназии.

...в институт он нам писал веселые письма... — Речь идет о Патриотическом институте в Петербурге, в котором в 1832–1839 гг. учились младшие сестры Гоголя — Елизавета Васильевна и Анна Васильевна.

А. С. Степанова

СОДЕРЖАНИЕ

СВЯТОЧНЫЕ ВЕЧЕРА	5
От автора	6
I. Мертвец-убийца	7
II. Жизнь через сто лет	14
III. Проказы духов	42
IV. Призраки	47
V. Таинственная свеча	52
VI. Прогулка домового	60
VII. Старые башмаки	66
VIII. Божьи дети	71
IX. Счастливый мертвец	82
X. Разбойник Гаркуша	91
Приложение	
БЕС НА ВЕЧЕРНИЦАХ	105
ДЕДУШКИН ДОМИК	132
ХРИСТОС-СЕЯТЕЛЬ	149
СТРЕЛОЧНИК	159
ШАРИК	170
ЗНАКОМСТВО С ГОГОЛЕМ	190
Комментарии. А. С. Степанова	227

Литературно-художественное издание

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ДАНИЛЕВСКИЙ
СВЯТОЧНЫЕ ВЕЧЕРА

Редактор Алевтина Бессонова
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Ольга Иванова
Корректоры Станислава Кучепатова, Вера Дроздова
Верстка Михаила Львова

Подписано в печать 24.09.2012. Формат издания 76 × 100 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Гарнитура «Петербург». Тираж 3000 экз.
Усл. печ. л. 11,28. Заказ № 3921.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119991, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 15

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных издательством материалов
в ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР»
170040, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д. 46



ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел. (495) 933-76-00, факс (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел: (812) 324-61-49, 388-94-38, 327-04-56, 321-66-58, факс: (812) 321-66-60
E-mail: trade@azbooka.spb.ru; atticus@azbooka.spb.ru

В Киеве:

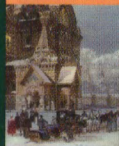
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Сайты в интернете:

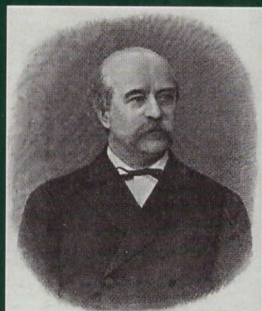
www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru



КАКВ1176501R



Имя Григория Петровича Данилевского хорошо известно многим поколениям читателей, и прежде всего благодаря исторической беллетристике – романам «Княжна Тараканова», «Сожженная Москва», «Черный год» и др. Мастерски разработанный сюжет, точность характеристик и описаний обстановки считаются определяющими чертами стиля Г. П. Данилевского; современники отмечали его талант блестящего рассказчика. В 1879 г. писатель объединил несколько своих повестей («безгрешных сказок о привидениях, явлениях духов и прочей бешовщине») в цикл «Святочные вечера». Это серия святочных рассказов, написанных в духе знаменитого «Декамерона» Боккаччо: десять историй о разных фантастических явлениях (привидениях, духах и других таинственных вещах), просто и увлекательно поведанных друг другу разными людьми. Помимо этого цикла, Данилевский написал в жанре святочного рассказа еще несколько произведений, которые включены в приложение; кроме того, в сборник вошел очерк Данилевского «Знакомство с Гоголем».



Григорий
ДАНИЛЕВСКИЙ
1829 – 1890



На обложке:
А. А. Парланд

«Наружный вид храма
Воскресения Христова».
Вторая половина 1880-х гг.

www.azbooka.ru

Святочные вечера

ДАНИЛЕВСКИЙ

ISBN 978-5-389-04901-7

01



9 785389 049017